во избежание флюсных простуд и для последнего растворенья души, поднеся Тигре что надо, обожают прослушать взамен бумажку-другую из его портфеля.

Особо ходких было две. Первая, еще военного времени, замечательно любимая молодыми — был приказ своей бабе-жене от солдата, получившего вдруг и Владимира, и дворянство, и чин офицера. Конец был такой:

«...Как с ноября месяца в наших жилах текет благородная дворянская кровь, то вы, наша супруга, с простым званием не водитесь, а идите немедля в Гостиный двор и купите себе каракулевую саку: на нее прилагаю. Алферов».

Бумагу вторую, «девицу Ванду», любили старухи и мужами обойденные жены. В ней содержание и лица единолично рождены были Тигрой. Документ он ценил высоко и, хотя знал над женщиной его силу, прибегал к нему в редких случаях.

Общий предбанник наполнился: вышли зеленные торговки, вышли последние, мыться им — не отмыться, селедочные. «Ларек галантереи Бубниной» давно отдувалась на диване. Женщина сырая, дородная, вся в жирных мешочках, глаза чуть прорезаны.

Отлегло у Бубниной, оттомилось в пару сердце, пришли мысли уветливые: долго ль жить уж самой? Новых радостей не искать, все позади. Молодым теперь жить. Ну и пусть себе как хотят. Одна треба — стариков не неволь. Окостенелый прут перегнуть — сломится!

На этих мыслях и благоволительном выражении лица словил Бубнину хитрый Тигра, от души предложив прочесть вслух любимую ею «девицу Ванду».

— Вот, Тигрушка, угодил. Дорого яичко в Христов день...

— «Ванду» прочтет...— понесли зеленные к фруктовым, дошло до селедочных:—«Ванду»!— Все честь и место — широки скамьи во «Всемирной»!

И в сотый раз, подзаикивая и томно фигуряя голосом, прочел Тигра подбашенным торговкам старинного корня:

— «В Военно-окружной суд девицы, а ныне дамы Ванды Повзик, прошение!

...Некто Франц Дуля, состоя в должности военного писаря, как кавалер, стал ухаживать за мною. Первоначально ухаживания носили обычай симптоматического характера...»

— Сим-пто-ма-тический!— и вздохнул Тигра:— Вот слово. Да, за его деньги стоит платить. Мало кто подобное слово и знает!

Тигра увидел, что зеленные передают фруктовым пару пива, что звякает то тут, то там мелочь, повел дальше голосом нараспевку, как дьякон, возглашая ектенью:

— «...Озаренный любовью ко мне, ввиду клятвенного обещанья о женитьбе. Ему было разрешено, в присутствии моих родителей, присовокупиться ко мне. Спустя правильный период времени родился мальчик, нареченный Ян Францевич, подразумеваемый Дуля. Между тем обусловленный жених, старший Дуля, начинает увертываться от своей виновности, пренебрегает день свадьбы и даже относится отрицательно своим плоцким вож-делением!..»

Октавою возгласил Тигра, а предбанные, ровно певчие, хором:

— Все они этак-то... Мужчина что петух!

Но покрыл Тигра хор басом:

— «...Убитая горем и невольным сюрпризом, прихожу в отчаяние и никак не могу примириться с голосом совести Франца Дули...»

И хор:

— Ищи, кто помирится.

Опять Тигра:

— «...С клятвенным обещанием, тем, что послужило в залог несчастнейшей любви...»

— Клястись клялся, да с другой обвенчался!

— «...Тем воспоминанием своей целомудренной девственности, навеки утраченной...»

— Снявши голову, по волосам, брат, не плачут!

Захохотали было. Тигра прервал угрожающим завершительным звуком:

— «...почему обращаюсь покорнейше в Окружной суд присудить на воспитание его, Франца Дули, подразумеваемого сына, Яна Дули, ту долю, что значится в своде законов. А именно...»

Не дали окончить, со всех скамей распылались:

— Еще б не значилось? Ты носи, ты роди, ты корми!

— «...Наряду с этим, принимая во внимание ценность личного целомудрия и растления, кои обусловлены в сельском быту в тысячу рублей, прошу присудить уже мне лично...»

— Что-то дорого — тысячу.

— У нас в Пензе дешевле стоило!

— Эк хватила, у нас вовсе задаром.

— Тише вы... Кончай, Тигрушка!

— «...Обожая себя и родителей моих, воспитавших меня столь прелестной для хитрого человека, прошу уважить сие ходатайство».

Бубина плакала. Голос спросил:

— Что ж, уважили?

— Оп-ре-де-ленно!— сказал нагло Тигра.— И ежемесячно, и единовременно за труднопоправимую утрату целомудрия.

Пред Тигрой выросло пиво, пирожные, в кучке мелкие деньги. Одна за одной стар и млад зашептали ему в ухо про дела свои тайные.

Важно привстав, рукой отвел Тигра:

— Очередь!

Но, упершись взором в дверь, он увидел у выхода из мужской бани приятеля, Антипа Аггенча. Тигра пошел к нему, взял крепко за руку, подвел к рассыревшей от бани и чувств теще Бубиной. Вскидывая чубом, будто конь, и страховидно вращая глазами, Тигра выпалил торжественный манифест:

— В скорое время, едва обнародован будет декрет о сочувствии китайскому движению, всякое сопротивление, оказанное родственниками, включая обыкновенное словесное осуждение, при вселении желающих членов в новые постройки, для пролетариата возведенные на надгробиях древнего стажа покойников, будут преследуемы по за-ко-ну!

Факт помещения надгробий древнего стажа покойников ориентируют фактом сочувствия китайскому движению. У китайцев, граждане, покойника полагают в изображение каменного разверстого ложесна, якобы в недро матери для легкости обратного хода, откуда пришел. А полагая туда, гордятся немало подобным местом. Но ежели это по-русски назвать — то это позаборнстей, гражданка Бубина, чем нежели уборная, вас оскорбившая при посильной услуге ей бывшими предками.

— Ох, Тигрушка,— томная стала Бубина,— после пару поплакать охотка, а ты декретное. А от декретного тело дух не примает. Да разве я дочке Клашеньке что? Я ничего.

— За твое «ничего»— запрещение торговли в ларьках! Без промедления отдавай дочери Клавдии движимость! Едва выйдет декрет, ни малейшей помощи, граж-

данка Бубина, во мне не ищите — ваши чувства к надгробиям полны лжепредрассудков белой гвардии!

— Дам и движимость, и нерушимое...— плачет Бубина,— одно лишь уволь: самой чтоб в подобный-то дом ни ногой!

— При свидетельстве отдачи движимого увольняю!— как поп, разрешил Тигра и соединил руку Бубиной с рукою Антипа Аггеича.

ПЯТЫЙ ЗВЕРЬ

Николаю Тихонову

«Варан из Туркестана,— читал Хохолков,— небольшой экземпляр в один метр длиною, родственная ему порода достигает в Южной Африке двух метров. Обладает сильно удлиненным телом, семейства ящериц, относящихся к подотряду... питается насекомыми, яйцами крокодила...»

Рассеянно окинув стеклянную коробку с электрической горящей лампочкой в сто свечей и огромным градусником с синим столбиком, взбежавшим до цифры двенадцать, Хохолков собрался идти дальше, как вдруг ящер-варан медленно повернулся и поднял голову.

— Шаляпин в «Юдифи» [1],— сказал художник Рунн и перестал рисовать в свой альбом.

При каждом шаге ящер выбрасывал и ставил лапу на пять твердых когтистых пальцев так внезапно, с такой безумной ассиро-вавилонской сдержанной властью, что слабо звякали на лапах золотые браслеты и из варана — возникал Олоферн.

Ящер нес на зрителя свою тяжкую крокодилову морду. Рот был приоткрыт, почему-то набит желтым песком. От презренья не сплевывал. Глаз необычайный — тысячной древности индусского мудреца — вдруг мигнул белой пленкой и метнул стрелу жестокую, неуклонную, как смерть.

— Какой громадный, как страшно,— шептал, не отрываясь, мальчик.

Новый зритель, еще не глянувший на варана, как только что Хохолков, читал скромный его формуляр: «...небольшой экземпляр в один метр длиной...»

Но, глянув вниз под лампочку в синий столбик термометра, воскликнул:

— Черт знает что, ведь и вправду громаден!

Варан, выбрасывая лапу за лапой, чуть шурша по песку желтым брюхом, не сгибая вознесенную, забитую песком морду, слепя жестоким белым веком, в крайнем, в бешеном напряжении несся на зрителя. Оторваться от него было нельзя — он чаровал.

Конечно, Хохолков разумом помнил, что это безвредный ящер, что рядом в помещении рыб сидит подлинно опасный аллигатор, которому, по учебнику и Майн Риду, полагается жевать негров и оставлять «кровавую пену на водах Замбези» [2]. Аллигатор был громаден, зубаст, но, хоть за ним числилось то и это, страшного впечатления он не давал. Он за стеклом смирно спал, как корова, выпустив зубчиками, будто кружево на детских штанишках, наружный ряд белых и острых зубов челюсти верхней на нижнюю.

Страшен был этот... дракон тысячелетий. Похититель прекраснейших дев, грозный враг рыцарей-крестоносцев, воспетый поэтами, убитый Зигмундом и Георгием Победоносным[3] — сейчас «небольшой экземпляр в один метр длиной»— варан из Туркестана.

Презирая свою лампочку в сто свечей и термометр с синим столбиком на цифре двенадцать, презирая глазевших на него,— ящер шествовал. Вот он вплотную у стекла, вот стукнул в стекло приоткрывшейся пастью, вот дрогнул, осел...

Напряжение зверя вперед так было могуче, что вмиг перекинулось зрителю. И зараз Хохолков, Рунн и пионер в красном галстуке воскликнули:

— Дракон полетит!

. . . .

— ...Ну да, это было бессмысленно, я совершенно с вами согласен, «никаких, даже зачаточных крыльев»,— говорил Хохолков наутро в редакции «Красного детского мира», излагая редактору конспект своей повести о варане,— но, клянусь чем хотите, нам казалось, что он полетит...

— Ерунда,— оборвал редактор,— ничего не должно казаться без достаточных оснований. Чистейший романтизм...

— Ничего подобного!— сдерживая собственные слова, крикнул по-уличному Хохолков.— Я сам уверовал, что бытие определяет сознание, что интеллигентский

подход пора послать к черту, но поймите же и вы, что переменам подлежит *применение* энергии, а *законы* ее восприятия требуют лишь углубления и развития! Разрешите, я вам дам серию «Красный зверинец», где заражу ребят, как художник, конденсированной силой зверя, выдвину могущество воли, независимость энергии от внешних данных... посудите, сколь педагогичен прием! Поднятие высших свойств человека одновременно с развитием его вкуса и мысли...

— А портфель из него выйдет?— пресек Хохолкова редактор.

— Из кого?— отступил Хохолков.

— Да из этого вашего из варана?

— Ящер небольшой... один метр, неширок в диаметре,— забормотал было Хохолков.— Но вы меня не так поняли, вероятно, я не сумел, но в рассказе все выйдет. В том-то и секрет ящера, что впечатление громадности отнюдь не подтверждается его размерами, а целиком идет от его неистовой воли к жизни. Отсюда не только полезные, прямо скажу, чисто советские выводы... Художник Рунн сделает иллюстрации.

— Не подойдет варан!— хватил редактор.— Пусть иллюстрации не делают. Рассказы про зверей нам нужны без надстроек: производственные, промысловые. Ну, а как портсигар? Может, выйдет хоть он? Да вырежьте кожу варана вокруг брюха цилиндром и, держась на советской платформе, заставьте какой-либо коллектив поднести ее в день юбилея портсигаром сотруднику, или рабкору, или иному общественно нужному деятелю. Ведь выйдет же портсигар? Ну, каков диаметр живота?

— Я не прикидывал!..— смутился Хохолков.

И вдруг, вспомнив, как надменно выбрасывал варан лапы, как от него веяло историей, ископаемым, ассиро-вавилонским, тысячелетием, резко сказал:

— Нет, я не стану вырезывать портсигара!

— Воля ваша,— пожал редактор плечами,— ни романтики, ни философии... искусственный подход.

— Ну, это уж извините,— вскипел Хохолков.— Пионер с красным платком, никем не подученный, уж он непосредственно... а как крикнул-то: «По-ле-тит!» Хотя видел, поймите меня, он видел, что нету крыльев, что стекло впереди.

— Сын интеллигентных родителей, буржуазный атавизм.

— А если сын рабочего? А наши художники кто? А не угодно ль сапожника — Якова Бёме?[4]

Редактор прервал Хохолкова молчаливым указанием на плакат: «Время — деньги, посторонними разговорами не задерживать».

. . . .

Хохолков получил перевод и со злобою на редактора «Красного детского мира» неделю напролет переводил чужие слова, ощущая безмерную свободу собственной личности, которой не приходилось ничем поступаться.

На второй неделе перевод надоел. Как червь, засосала тоска убивать целый день на чужое, когда свои глаза умели смотреть, свои мысли и образы лезли взапуски на бумагу.

Хохолков бросил перевод, кинулся на трамвай, вон, за город.

День был чудесный. Почки на самых поздних деревьях раскрылись и только ждали дождя, чтобы зазеленеть и запахнуть вслед акациям и черемухе. Земля дышала, черно-лиловая, не утоптанная сапогом. Вдоль рельс бежали свежие травы, и в них то желтел, то голубел первый ранний цветок.

А в вагоне, как водится, ссорились. Гражданин выговаривал кондуктору, зачем он переулок двунадесятого праздника не именует Безбожным, не принимал извинений в беспамятстве, стыдил горько и кротко:

— Из-за чего революцию делали?

Гражданка позвала свою годовалую дочку, убежавшую к Хохолкову на площадку, без никаких сокращений звучным именем: «*Клараценткин*».

— Она у нас не крещена, она октябрена,— не без гордости сказала гражданка соседям и отхлопала бедную Клару.

— Октябришь по-новому, а бьешь-то ее по-старому?

И сцепились бабы, пока трамвай всех не выбросил к синему озеру, к музею-усадьбе, где на воротах гладкие, мелкие львы, элегантно подняв лапу, приглашали войти. Но экскурсий еще не пускали, и, наблюдая чистку дорожек и ряд по-летнему забелевших в зелени статуй, можно было подумать, что нет в стране перемен и «люди» чистят усадьбу для старых хозяев-князей.

Хохолков обошел озеро, подразнил гуся, наломал в мохнатых барашках вербы, долго бессмысленно смотрел на легкое весеннее небо, как пес нюхал сырость; тянуло бродяжить. Сколотить сумму червонцев и айда...

Понесся обратным трамваем домой, кончил к утру перевод, подсчитал гонорар: доехать до Тулы, съесть фунт тульских пряников и назад. Но ему ведь хотелось за Тулу.

Пошел по знакомым редакциям подряжаться на работу с авансом.

— Дайте нам роман «Газовый», мы возьмем.

— Да помилуйте, я по химии всего «аш о два». Хорошо, если двойка на месте...

— Пустяки химия, за лето подучите...

Но Хохолков хотел летом бродяжить. Один ему ресурс: аванс под «Красный зверинец». Тянули звери, как лес, про зверей он напишет шутя.

Хохолков пошел опять в зоосад со строгим решением досмотреть про зверей цензурно: производственно и промыслово. От варана воздерживался — не шел: ну его к черту, опять полетит, когда ему надо пешком...

Пошел Хохолков к зверю трезвому и простому, без двойных мыслей, громадному. К индийской слонихе, беременной слоненком первый год. Ей предстояло детеныша продержать в себе еще год, и она стояла как дом, с тяжко распертыми серыми боками. Перед слонихой, что грибов, было просыпано первой ступени экскурсантов. Веселый руководитель громко и бодро делился с ними познаниями и говорил о слонах как раз то, что требовал детский редактор: производственное и промысловое...

— ...Вымиранью слонов много способствует человек. Он уничтожает слонов ради их бивней, дающих ценную слоновую кость.

И по бумажке руководитель прочел:

— Дневной рацион слона — четыре пуда пятнадцать фунтов: сена — два пуда двадцать фунтов, хлеба ржаного — двадцать фунтов, хлеба белого — десять фунтов, моркови — десять фунтов, картофеля — двадцать фунтов.

Хохолков схватил карандаш и стал записывать, чтобы дома на точных данных создать педагогически полезную авантюру.

Слониха во время речи инструктора просовывала сквозь прутья решетки свой хобот, серый, длинный, как кишка для поливки тротуаров, выворачивала его и, шевеля пальцеобразным присоском, просила еще и еще для слоненка, распиравшего ее бока. Она давно съела свой четырехпудовый рацион, и ей было мало. Мальчики ей протянули принесенные булки. Слониха, деликатно

свернув хобот, отправляла булки, как в печь, в аккуратную темную пасть без бивней. Затем, словно быстро сморкнувшись, прянула хоботом вбок и вот уж опять шевелила далеко за решеткой пальцеобразным соском, прося новой пищи.

Мальчик первой ступени протянулся вперед — рассмотреть получше слоновый присос; слониха, как бы одобряя, с нежнейшей, материнской повадкой вмиг обгладила его нежным хоботом, обцеловала вокруг головы, мягко внезапно сняла с него шапку, взметнула дугой хобот и — не поспели ахнуть — убрала шапку в рот. Мальчик пождал, пуча глаза, и взревел...

Инструктор кинулся к сторожу.

Сторож, как былой крепостной человек, изучивший до скуки причуды господ, не двинулся с места, сказал:

— Сожрала!

— Может быть, ее вырвет моей шапкой, она ж грязная, пропотелая...— просил передать слонихе сквозь слезы мальчик.— Я подожду!

— Жди себе, только задом ли, передом пойдет из нее твоя шапка, ее, брат, тебе не узнать. Аминь головному убору!

Веселый инструктор сказал мальчику:

— Брось, Миша, плакать, ничего тебе не будет за шапку, обвяжем платком и пойдешь. Гляди-ка скорей на слониху, ишь что надумала!

Слониха из угла брала сено и грациозно, как тургеневская девушка косу, откидывала хобот за спину и густо посыпала себе сеном весь хребет и голову. Потом она деловито, с удовлетворенным чувством долга смотрела вокруг маленькими, по-человечьи умными глазками.

— Воображает себя в тропиках,— сказал руководитель,— там, защищаясь от москитов, она должна себе набросать на спину и голову листьев. Не сердись на нее, Миша, подумай, какие ей, бедной, здесь тропики. Она может сделать в клетке всего три-два шага. Тут не то что шапку, целиком проглотить тебя впору. Пойдем-ка за ней лучше в Индию...

И веселый инструктор вмиг вырастил перед ребятами девственный лес, заткал его сверху донизу лианами, напустил обезьян, попугаев, заставил вдали рычать тигров, и, разделяя грезы юной слонихи, дети с ней вместе попали в Южную Индию...

. . . .

— Судите сами, это ль не новая педагогия!— восхищался вчерашним инструктором Хохолков в редакции «Красного детского мира».— Я полагаю, разница есть: топором ли рубнуть — человек от обезьяны... или найти подход внутренний, психологический, породнить ребят с каждым зверем, установить общую великую связь всех животных. Отсюда смягчение нравов, расширение кругозора, так сказать, вселенский интер-на-цио-нализм! Если хотите, это даже своеобразная и более действительная борьба с религиозными предрассудками, чем обухом по голове, как...

Редактор прервал:

— А шапка, которую съела слониха? Шапку, спрашиваю, ваш веселый руководитель возмещать будет из своего кармана или из сумм Рабпроса и иных? И что это, извиняюсь, за балда, который не учит ребят держать демаркационную линию? Де-мар-ка-ционная линия, за которую не достигнет ничей хобот, а прогулка в тропики, к полюсу, к черту — потом. Вот новая психология, ее и давайте! Однако рассказывать вы умеете, и вот вам совет: присмотрите себе зверя, который не пробуждает в вас романтики и тому подобных, историей брошенных в хлам, сантиментов. Ну мало ли кровожадных, несомненнейших, реальных хищников — тигр, удав... Это вам не варан!

— Тигр и удав?— подпрыгнул радостный Хохолков.— Да, черт побери, как я мог позабыть...

Не прощаясь с удивленным редактором, он стремглав слетел вниз по лестнице и бросился в дальнего хода трамвай.

Блаженно улыбаясь, Хохолков стоял на площадке, мысленно шествуя по полям и лесам, куда он вот-вот попадет на аванс детской книжки. «Тигр и удав... ну конечно, они».

За заставой, рядом с бывшим монастырем, ныне детдомом, жил старинный приятель Хохолкова, естественник, сын знаменитого путешественника. У них в доме жил живой тигр.

— Не знаю, как с тобой быть,— сказал естественник Хохолкову, узнав, в чем его дело,— моего знаменитого старика нету дома, и он приказал без себя к Степе чужих не впускать. Он нездоров.

Степа и был тигр, привезенный ученым путешественником из Азии. Он прожил всю жизнь в зоологическом, а под старость был снова взят первым хозяином.

— Ах, впусти,— сказал Хохолков,— я, как собака, хочу на простор, а редактору вынь да положь детский рассказ про несомненного хищника, без сантимента и поэзии. Степа — тигр, ergo кровожаднейший.

— Ну, как тебе сказать,— замялся естественник,— кровожадным он когда-то, разумеется, был. Но за эти голодные годы, когда его с охотой выдали нам из зверинца... ну посуди, чем могли мы его накормить? Голодали сами, вегетарианствовал он. Короче скажу: тигр пристрастился к вареной картошке и сейчас уже много не ест.

— Как,— вскричал Хохолков,— тигр-вегетарианец! Скажи еще — теософ?

— Да, пожалуй,— ухмыльнулся естественник,— к старости зверь до того подобрел, что, вообрази, нам приходится защищать его от обыкновенных домашних кошек! Спят в нем, как в шубе; чуть встанет раньше, чем им угодно, царапают морду, кусают.

— Да вы ему зубы, что ль, вырвали?

— Все налицо — и клычищи, и бабки. Зевать станет — Азия.

— Так что же это с кошками?

— Подобрел... да и мы же его как родного, вот и он. Не поверишь, сестренка простыни ему подрубила, наметила красным. Да ничего, отец и не узнает, пройдем к нему. Только молчи, больно он шума не любит. Стеклом в кухне порезался, лапу себе рассадил.

Естественник провел Хохолкова по коридору, открыл дверь. Комната с высоким в решетке окном была совершенно пуста. В ней пахло, как в зверинце возле хищных зверей. В углу на матраце, покрытом белой простыней с крупной меткой «Степа», положив на подушку перевязанную лапу, лежал тигр.

Насторожа уши, он на миг весь спружинился, но, узнав студента, забил, как собака, хвостом и дрогнул в улыбке седыми усами.

— Пей, Степа,— поднес естественник молоко и стал гладить полосатую голову.

Из-под тигра прыгнула черная кошка, и на белом зеркале молока замелькали два красных языка, один большой — тигровый, другой мелкий, побыстрее — кошачий. После молока тигр принялся за картошку. Всунув в миску морду, набрал полный рот и стал шамкать лениво и бережно, отряхивая здоровой лапой усы. Потом он лег мордою на подушку.

Естественник подсел к тигру на корточки и принялся чесать ему, как коту, за ушами и горло. Тигр опрокинулся на затылок, мурлыкал, зажмуря глаза.

— Сволочь,— не стерпел Хохолков,— забыл джунгли и волю, нажрался картофеля, как свинья! Где же искать теперь хищника, черт возьми?

— Чего ты ругаешься?— сказал естественник.— Помоему, так с тигром тебе повезло. То, как он разрывает добычу, являясь «бичом бедных индусов»,— давно скучнейшее общее место, детям гораздо интереснее и полезней узнать, что нет той свирепости, которая не побеждалась бы добротой. Озаглавь рассказ: «Мудрая старость»...

— Христианские дрожжи! Нипочем не примет редактор. Одна надежда — удав. У твоего отца, мне помнится, есть товарищ-оригинал, у себя держит в комнате.

— Пантелей! Ну, еще бы... однако уходи вон на цыпочках. Степа спит.

— Пантелей — это кличка удава? Да неужто,— воскликнул близкий к отчаянию Хохолков,— не нашлось более гордого слова, чтобы выразить ярость мускульной силы царя питонов? Пан-тей-лей?

— Уменьшительное — Пентюх... и так зовут его всего чаще. Ты как глянешь, сам назовешь. Вообрази, до того ленив, старый пес, что не желает сам вползать в ванну, говорит: пусть несут! Профессор ему держит голову, жена, сын и дочь тело — четыре метра. А? Недурен кобель? И все это плюх — в молоко.

— Молочная ванна? Удаву, как красавице Кавальери!

— Ну да, не то его шкура зверски воняет, этакий специальный удавий смрад. Он на родине привык об траву особую боками тереться, в неволе замена ей — молоко. Каждые две недели ванна.

— Черт знает что! Шехерезада какая-то,— оскорбился Хохолков.— Хотел заработать на удаве, а в результате, чего доброго, его же помои сам пью по утрам с кофе да деньги молочнице отдаю. К черту нэпманов! Небось не зарегистрирован этот удав?

— Зарегистрирован как учебное пособие... Да ты не шуми, разбудишь тигра,— сам понизил голос естественник.— На показательные уроки Пантелея развозят в пробковом футляре, чем и окупаются его молочные ванны.

— А площадь?— вспыхнул еще Хохолков.— При подобном уплотнении пифону дать площадь?

— Успокойся, Пантелей спит под постелью профессора.

— Вместе с ночными туфлями и прочим... Да это кто же напечатает? Это, брат, хуже мистики! Это черт знает что за быт!

Хохолков схватился за голову, потом плюнул в сторону тигра и помчался опять стремглав в зоосад с последней надеждой впечатлений от хищников.

В зоологическом Хохолков не стал приставать к сторожам, как обычная публика,— где именно сидит тигр? Он выучил план наизусть.

На быстром шагу вполглаза вбирая в себя хищных птиц, одних — донельзя похожих на царских жандармов, других — высоко поднявших мохнатые плечи, как дагестанцы в бурках, несомненно скрывающих где-то кинжалы,— Хохолков себя удерживал всячески от романтики и сопоставления зверя с человеком: «Госиздат запретил зверям разговаривать. Сопоставишь — ан зверь и пойдет...»

Пустой и легкий Хохолков стал перед клеткою тигра. Тигр сидел на поджаром заду, как собака. Глянув на Хохолкова, он подтянул к седому носу усатую губу, обнажил розовые десны, ослепительно белые зубы, и, разинув пасть до опасности разодрать свое горло, стал зевать. И не раз, и не два... Зевал на совесть, будто для этого дела он только на свете и жил. Хохолков не выдержал, зевнул было тигру в ответ, но тут же опомнился и сказал гневно сторожу:

— Что это у вас тигр, больной?

— Без дела, что же ему...— И, прикрыв рот рукой, сторож стал зевать не похуже.

Хохолков побрел к удаву:

Тигровый питон. Python molurus.
Живет в Индостане и на Цейлоне.
Достигает 4 метров.
Самые большие могут съесть добычу
весом в 2 пуда.

Удав среднего размера так забился в угол клетки, что за деревом Хохолков его еле нашел. Он готовился, видимо, линять и заранее, чтобы его не трогали, сделал вид, что издох.

— Пантелей,— обругал Python molurus'а Хохолков.

Отойдя подальше, он сел на скамью и задумался. Раздражал запах конюшен зверей; неудержимо хотелось, как и им, на простор.

Вдруг кто-то сзади стал нежно, но настойчиво тюкать в спину Хохолкова. Он обернулся, подскочил. Прекрасный чернобархатный бизон толкал его мордой и тотчас, подставив лоб, умным и туповатым взором просил почесать его. Не дождавшись ласки, бизон просунул между прутьев мокрые ноздри и высунул красный язык.

— Сахару хочешь, мерин...— зашипел в бешенстве Хохолков.— С этакой крутой башкой да с рогами. Тебе б затоптать, тебе б забодать! А он са-ха-ру...

И, окончательно не доверяя старой классификации зверей, перевернутой вверх дном аршинным безвредным ящером и позорной обломовщиной искони хищных, уже без всякой «темы», ни на что не надеясь, Хохолков стал за свои деньги досматривать зоосад.

Перед огромной клеткой павиана толпился народ.

Павиан, чуть присев, сноровисто чистил морковь, ловко зажав очистки в старчески темную руку с прекрасными овальными ногтями.

— Профессор Капченко...— прошептал Хохолков,— и его труд «Бесконечно малые».

И точно. Павиан был профессор Капченко — математик. Или наоборот. Рассеянные, страшно умные, вглубь ушедшие глаза, сутулость, чуть падающие штаны, эти присевшие мохнатые ноги. И свобода мышления до полнейшей безобразицы — две символически беспринципные ягодицы под хвостом, то красные, то синие... И, конечно, очки.

Павиан окончил морковь и, держа в напряжении крепко зажатый кулак с кожурой, глянул в публику, уперши длинный нос в мохнатую грудь, точь-в-точь как глядят математики поверх очков, ленясь их в себе вздернуть на лоб. Профессор Капченко...

Павиан подошел вплотную к решетке с глазеющей праздной публикой и, просунув ловкую темную руку между прутьев, с силой выбросил всем на головы морковную кожуру. Потом, покряхтывая и чуть топчась на месте, он сделал в публику еще худшую непристойность.

Павиана заругали по-русски так злобно, как ругают лишь вора с поличным. И ругавшие, ну не мог не видать Хохолков, хотя и запрещено, но до того стали как тот... ну хоть в клетку. Требовали сторожа наказать обезьяну.

Сторож нехотя просунул в клетку железную палку. Павиан отскочил и, презрительно фыркнув, ушел с достоинством на самый верхний сучок своего клеточного дерева. Там, закрыв глаза и качаясь, погрузился он в созерцание «бесконечных и малых».

Хохолков двинулся к грызунам, где прицепился с мальчиками к жирному кому — сурку. Зверь лежал в клубке без конца и начала и — хоть тресни земля — крепко спал. Озираясь на сторожа, мальчишки кололи его нарочно взятыми чулочными спицами, он чуть двигался и опять засыпал. Хохолков просунул руку и что мочи ущипнул зверя. Сурок даже не фыркнул, только вместе с сеном, в котором зарыл морду, перевез медленно вглубь свое жирное тело. Что с него было взять? Округлился, закончился...

Против морских львов у бассейна Хохолков увидал вдруг художника Руни, рисовавшего в свой альбом. По этому признаку определив, что, значит, там интересно, Хохолков подошел.

Руни зарисовал двух фламинго.

Египетские священные птицы стояли геральдически симметрично, повернувшись лицом к стене, каждая за трубу отопления засунув длинный свой нос. Изредка они нервно вздрагивали чудесными розоватыми крыльями на красной генеральской подкладке. Выходило, что они отвернулись нарочно, не желая глядеть на воду.

Рядом с художником Руни сторож, приставленный к «аристообразным», не спускал глаз с фламинго, крыл их отборнейше.

— Ну за что вы? — спросил Хохолков.

— Тоже нэпманы и буржуи... Почему классовый гонор? Перевели их сюда, а они с кряквами, вишь, не плавают... а заплошают, так я ж отвечай!

По широкому каналу вперед-назад шныряли, ныряли, крякали, дрались и шумели, как торговки в базар, нырки, шилохвостки, чирки, широконоски и прочий утиный дрязг.

Они клевали кучами на помосте, судачили, ткали сплетню, ругались отверстыми красными клювами, плавали вплоть до угла с отоплением, где, как геральдические изваяния, фламинго из Египта, гордясь розовопурпурным оперением, безмолвно страдали, но не шли в оскверненную утками воду.

— Покажу я вам классы...— И сторож пошел к отоплению, силком столкнуть в бассейн норовистых «аистообразных».

. . . .

Опять приемный редакторский час. Опять Хохолков с тоской глядел в окно на черемуху, как невесту убравшую себя в белый убор. Последнюю делал попытку устроить свой «Красный зверинец».

— Допускаю, вы правы, товарищ, если Госиздат запретил зверю слово, то уподобление зверя человеку — по существу, нарушение; профессор Капченко отпадает. Но фламинго, но кряквы? Разве не сильнейшее оружие логики — вскрытие всюду однородных законов? Эта классовая гордость птиц...

Редактор вспылил...

— Под пером немарксиста,— ударил он,— подобная тема, товарищ, бледна. Удивляюсь немало, вы получали академический паек, а про зверя не можете без никчемных надстроек. Никак уже с четырьмя сели в лужу? Ну, вот вам последнее снисхождение — попробуйте пятого, элементарнейше дельно, хоть так: живет, умирает, удобряет землю... ну и там что-нибудь из копыт. Эх, вижу я, не будет вам летнего отдыха!

— Ложь,— закричал вне себя Хохолков,— ложь — будет мне летний отдых, я пя-то-го зверя нашел!

САЛТЫЧИХИН ГРОТ

В этом подмосковном поселке отцы торгуют. Давно обсиделись на льготно закупленных в военное время нарезах. В первые годы революции порастрясли было мошну, а уж сейчас ничего — оперились. Открыли кубышки, пообстроились, заборами обнеслись, георгин насадили. Ходят к обедне в двухэтажную церковь: зимой в теплый этаж, летом — в холодный. И цель жизни нашлась — подсидеть кооперацию.

Новый быт не то чтобы приняли — прижились, как половчей. Поначалу прокляли было двух-трех дочек за совбраки, да умом пораскинули и скоренько смирились — бездетный брак что холостой выстрел: пугнуть пугнет, а вреда не видать.

И подмигнет, подтолкнет отец отца: опять-таки эта «охрана материнства от младенчества!»

Пусть советится, пока зелена, пробьет срок — выглядит себе кого путного; а очистится с ним по-церковному, с благословением оброжается — можно зятюшке и дела передать... И сыновьям в комсомол отцы идти не препятствуют. Не ровен час, заявят куда надо сыновья о бессознательном элементе в семье... Ведь пронесли уже где-то плакат:

Долой бывших родителей!

Лавочники — народ кастовый, носы у них с набалдашинкой, пальцы пухлые, что личинки майских жуков. Пальцы наметаны товар с барышом принять и отвесить себе без урону...

Два мира в поселке, и не только в поселке — в каждой семье. Да вот хотя бы Творожины сестры: Зоечка, довоенного времени перестарок, да подросток Ирка — пионерка.

— ...Ручаться за то, Зоечка, что она ела именно женские груди и младенцев, я вам не могу, но удостоверено исторически: Салтычиха загубила более сотни своих крепостных [1]. Она жертв своих била скалкою до собственного изнеможения, а гайдуки при ней добивали плетьми...

— Ужас, ужас,— пищит Зоечка,— а про ужасы я слушать совсем не хочу.

И вот же неправда — Зоечка ужасы очень любила: в кино бегала на «Кошмар инквизиции», на «Застенки царизма». Но ведь ей этот внезапный знакомый показался из тех, ну, из прежних, которым так нравились девушки у Тургенева.

А Петя Ростаки, освеживший для собственной цели в исторических справках нужный ему материал, с удовольствием продолжал:

— Доносы на Салтычиху были столь многочисленны, что обратили наконец внимание Екатерины. Приказано было выставить ее на лобное место в саване. На груди у ней было написано: «Мучительница и душегубица»...

И опять Зоечка:

— Ужас, ужас...

— Салтычиху заключили под своды монастыря в подземную тюрьму. Пищу давали ей со свечой, и когда народ жадно кидался к оконцу, она дразнилась языком и плевалась. В старости стала непомерно толста, что не помешало ей завести роман с тюремщиком. Просидев

тридцать лет в склепе, похороиеиа в почетиом Донском монастыре. Кряжистая баба. И вот, попрошу я вас, Зоечка, дополнить мои сведеиия современностью и показать, что же осталось от древностн в днн аэроплаиов н Советов?

Голубым глазом Зоечка глянула вбок, ерганула плечиком и, жеманясь, сказала:

— Пойдемте в парк, я вам грот покажу. Но почему вы так хорошо зиаете историю?

— Я исторический романист,— сказал Петя Ростакн,— псевдоним мой — Диего, зовнте меня этим имеием.

— Диего, дои Диего... ах, это звучит...

Петя Ростакн почти не соврал. Он пока дал в газетку содержаиие двух кинофнльмов, но он собирался начать отдел «Подмосковиые вчера н сегодня», для чего и приехал в былое поместье злободиевиой сейчас Салтычихи.

Петя Ростакн за время революции хорошо прирабатывал наклейкой резины к дырявым подметкам. У Пети припрятаи был клей довоеииого времени, и благодаря ему подошвы отдирались миого поздией, чем при их подклейке советским клеем-профессиоиалом, ассуром.

Но клей довоенного времени у Пети весь вышел, и сердечиое увлечение выгиало нз удобной квартиры дядюшки в сквозиой чужой коридорчик.

Когда фининспектор по доиосу о подклейке калош зачислил Петю в кустарн-одииочки, дядя, крупиый совслужащий, сказал ему: «Каждая сила действует в своей категорнн. Твои же дела болтовня: регистрируйся журиалистом!»

— Изучнв прошлое Салтычихина грота, я приехал сюда за красками совремеииости,— сказал Зоечке Петя Ростаки и шаркнул:— Предполагаю получить эти краски от вас.

Изогнувшнсь всей своей серенькой летней парой, сверкиув на солице желтыми ботииками, Петя сорвал во ржи василек и галаитно подиес его Зоечке, а шедшая сзади Ирка-пиоиерка подумала про себя: «О-го! У Зойки старорежимные фигли-мигли».

На перекрестке парочка свернула в парк, а Ирка к реке. У Ирки на плече было мохнатое полотеице, она шла купаться. Хотя она то и дело кидалась через канаву

иарвать иалитого белым соком овса, чтобы сжевать его иабок, как лошадь,— она попутно настороженным пионерским оком ие упускала ничего.

Еще издали, запрнметнв мальчика с такнм же, как у иее, красиым платком иа шее, она, как ружье, вскннула иад головой правую руку с пятью смуглымн пальцамн в зиак того, что она н в эту минуту, когда идет купаться, как и в прочие миuуты своей жизнн, готова освобождать все пять стран света от гнета мирового капнтализма.

— В звеие доклад «Детдвижеине», смотри, Крамков, ие ужиливай!

Вздымая пыль крепкими пятками, показав тоже пять пальцев, Крамков пробежал дальше, а Ирка затороnнлась к пруду.

Оиа купалась теперь иа закате, потому что утром, когда нагрянут все дачницы с детьми и с полосканьем своих комбинешек, всякнй раз, хочешь ие хочешь, заварится склока.

Полоскать частное белье в общественной воде — это, граждане, антнобщественно и аитисаинтарно!

Ирка ненавиднт кружевные буржуйиые комбннешкн.

Старые дачиицы злятся н как помнят еще ее годовалою, то обидно язвят:

— В мокрых штанах тебя вндели, тоже большачка!

Оно, конечио, Ирке иадо бы с заявлеинем на дачниц идтн дальше, к самому поссовету, да связываться с инми, с комбииешками, недосуг,— вот и решнла купаться в пруду иа закате.

Не до дачинц Ирке сегодия, на диях событне в звене: сместнли вожатого за то, что «бузнл» вместе с звеном, и сегодия новая вожатая, Клаша Копрова, выступает в первый раз.

Ирка быстро разделась и, ежась от холодиой воды, отчего худые лопаткн затопырнлись, как крылья, медленно выбнрая подошвамн песчаное крепкое дно, шла до тех пор, пока ей было по горло, потом вдруг, выбнвая фонтаны, кннулась плыть к камышам. Там, сорвав баииик, бархатную щетку вокруг твердого стебля, оиа взяла его в зубы.

Лежа иа спние, как плавннкамн трепыхая чуть-чуть кнстямн рук, ие выпуская из зубов баиника, Ирка смотрела, как розовеют барашки, оттого что бегут иад ней в небе прямо в закат. Вышла иа берег, а там опять дачницы. Хоть и ие купаются, а так, зря натолклись, иа пруд поглядеть. Ну молчи, коль любуешься, а то разговоры...

да о чем! Все ворчат, все корят молодых: иа проезжей иа дороге загорать полегли!

— Советские иравы... обучили кого в трусиках, кого —«долой стыд!»

— А прежде-то? И рада б иная попышней, чтобы мужчииа в щелку в купальиой иа иее посмотрел,— а ои в щелку и сам-то стыдится, разве что в биноклъ из кустов.

— Сейчас оба пола сравиялись, безо всякой без разиицы живут.

Мелькиули в березках: голубая в оборках Зоечка и серая пара, желтые башмаки — Петя Ростаки.

И сейчас дачиицы Папкова, Чушкова, Краузе:

— Кто с Зоей? Чей ои? Откуда?

— Мы в одиом вагоие из Москвы ехали. У меия сидячее место, а оии себе иа площадке зиакомились,— закумила Папкова.

— У теперешиих просто: раз, два — и под липку.

— Эта Зойка готова хоть иа шею козлу...

— Оиа и с баидитом ие прочь...

— А кто поручится, что ои ие баидит? Железиодорожиый мужчииа и в иаше время был самый опасиый мужчииа.

— Баидиты, что кооператив иаш обчистили, тоже были в серой паре, чудесио побриты, в руках тросточки, совершеиио эстрадиики. Когда все открылось, их иаши дамы прозвали баидиты-шико. Троих взяли, одии убежал.

— Может, ои?

— Опре-де-леиио!

И Папкова, Чушкова и Краузе, три сезоииые сплетиицы, иа досмотр кииулись в парк. Ирка с мохиатым полотеицем — иаперерез, прямо к гроту свидаиий, Салтычихиину.

Зоечка, с Петей Ростаки, плыла по аллеям. Овевал ее ветерок сладким липовым духом, засматривал ей в голубые глаза Петя — дои Диего, ие сразу выталкивая слова, как бы в иих ие увереииый, что казалось ей воспитаиьем и скромиостью после обхождеиия теперешиих. В частой улыбке Диего обиажались мелкие острые зубы, в серозелеиых глазах, чуть прищуреииых, было хищиое и смешливое, как у щуки, хватающей пескаря.

У самого пруда, иад глубокой пещерой древией камеииой кладки, росли две огромиые березы. Уже добрую

сотию лет березы склонялись далеко над входом своими бело-черными, как горностаевый мех, стволами. Их плакучие ветви кружевной завесой спадали перед входом, то тут, то там пропуская в просветы днем синее небо и пурпур знамен пионеров, а ночью, пока влюбленные пары еще могли наблюдать, зеленые светляки лампионов театрального сада им здесь подмигивали цветом вечных надежд.

— Здесь должно быть чудесно в лунную ночь,— сказал Диего и, помолчав, прибавил:— Сегодня будет именно лунная ночь.

Из кустов глянула еще мокрая от купанья голова Ирки-пионерки, и, всей рукой подманивая к себе Зою, она, запыхавшись от бега, прошептала ей:

— Брось фигли-мигли с буржуем! Папкова, Чушкова и Краузе уже раскумили, что это бандит.

— Да как ты смеешь...

— Бессознательный рудимент!— Ирка гневно исчезла, а Зоечка, зардевшись, сказала Диего:

— Поселок вас возвел уже в чин непойманного бандита-шико. Вот вам и тема.

Диего залился, обнажая свои мелкие щучьи зубы, а Зоечке вдруг чуть-чуть страшно: а если он и вправду бандит? Теперь такие необыкновенные пошли вещи. И чем, скажите, зарабатывать бывшим дворянам? И тут же Зоечка: а если бы он, как Дубровский Троекурову Машу,— меня полюбил...

Папкова, Чушкова и Краузе, рука под руку, сомкнутым строем, звеня серьгами и браслетами, вдруг надвинулись к гроту. Поравнявшись с Зоечкой, они проглотили глазами дон Диего с его желтыми башмаками, серым костюмом и канули в столетний липовый мрак.

— Они будут поглядывать. Идемте на открытие клуба. Их стенгазка срамит, они туда не суются...

Зоечка перестарок, хотя так моложава, что все без колебаний зовут ее просто по имени, как она любит. Она из той несчастной полосы, которую революция уже застала окончившими прежнюю школу и расположившими будущность в твердых днях. Октябрь, как лукошко с грибами, опрокинул все ее планы. Хорошо, хоть хватило у Зоечки сметки поселиться с последней не вымершей теткой здесь, в поселке, где хоть малый домишко, да свой. Однако зависть берет уж на Ирку и прочих знако-

мых подростков. Как ладится у них все, без морщинки. Пионерки, потом комсомолки, идут со своими гуртом. Свой у них клуб, свои кавалеры. Им жизнь, как свежая тропочка, далеко вперед кинулась, а у Зоечки — оборвалась. Вот с самой с последней надеждой и хватается за последнего... вроде как из прежних.

— А что ж, ваши кумушки и по ночам ходят в грот?

— Ах, что вы! Сейчас ни за что! Их мужья запугали налетчиками. А у Чушковой, например хоть, только в праздники брильянты, а в будни стразы...

— Вот мещанка, ужели стразы?!

— Но даже их бережет она пуще глаза! И в праздник видали: четыре браслета, по два на каждой руке, представьте, а у Папковой на ноге, с ним купается, и с серьгами, перстнями... Ювелирная лавка!

Петя Ростаки залился, обнажая мелкие щучьи зубы:

— Сегодня праздник, значит, гражданки в крупной цене. Ну, пойдем при луне в этот грот!

Волнует Зоечку взор Диего, и смех, и щучья улыбка: нет, нет, не бандит — он Дубровский.

В бревенчатом здании поссовета, в просторной комнате происходило открытие клуба.

Первым с лекцией о текущих событиях вышел товарищ Довбик. Он ступал по сцене как статуя командора, камнем стуча каждый шаг, отчего задняя декорация трепетала. Он сейчас же перешел, ввиду богомольности поселка, к антирелигиозной агитации.

С шиком развернул гремучую змею длиннейшего плаката под огненным заголовком: «Сколь ни поддавайся — проглочен не будешь!»

На плакате изображен был Иона с серой бородой, в красных трусах и в десяти позах, наиудобнейших для кита[2]. Но для всех десяти, не исключая той, где Иона хитрым сплетением рук и ног обратил себя в круглый футбольный мяч, горло кита пребывало ему совершеннейшей непроходимостью.

При бурных овациях товарищ Довбик демонстрировал «научно точные» диаметры китовой глотки и в кратчайшем делении Иону.

Эстрадные номера возвещал приземистый беспартийный. Он обещал в будущем вполне революционную программу, но лишь сегодня конфузливо предлагал прослушать, по бедности, одни только «местные силы».

— Лучше, товарищи, открыть клуб имени, нежели ждать именно у моря погоды, потому справедливо, что необходима пища не одна именно телесная, а как сказано: «не о хлебе едином жив будет человек»[3].

— А какого, извиняюсь, вождя эта последняя, товарищ, цитата?— поддевают беспартийного...

— Гляди, расцитатят в стенгазке.

На сцене неизбежный «Монолог сумасшедшего». Некто в халате, с побеленным на совесть лицом, с «Чтецом-декламатором» в правой руке.

— Это вполне спец. Откалывай, Бобриков!

Бобриков схватил венский стул, швырнул его к дверям, зарычал, поймал снова, потряс над головой, скосил к носу глаза, замахнулся на публику и, польщенный женским визгом, изрек:

— Из Мазуркевича[4].

После Бобрикова девушка прошлого века в полосатом шарфе сказала:

— Из Сологуба-поэта[5],— как говорили, бывало: «Абрикосовы сыновья».

Инфернально завернувшись в свой шарф, она, сколько полагалось в стихах, полетала «на качелях», взгланула «вверх-вниз» и, совсем как когда-то светские дамы, подражая цыганскому пенью, полоснула в конце:

— Черт с тобой!

— Этот номер в мое время московский хор в пенни выполнял, а нынче времена попостней,— сказала охотница до зрелищ старуха Жигалиха, а Ирка-пионерка с компанией встала, не желая слушать буржуйных стишков.

В пустой комнате за сценой они пошли составлять свежий лист стенгазеты. Мимоходом не утерпела Ирка и опять шепотом Зое:

— Брось фигли-мигли, не то включим тебя в «язвы поселка».

— Если осматривать все здешние раритеты, то нам пора уже в театр,— сказал Зоечке Диего.— Надеюсь дополнить там свой фельетон «Нэпман на даче».

Они пошли к театрику «Муза» с красным флажком на воротах. Из оконца кассы выглянул дятлом кассир и торжественно объявил:

— Предупреждаю вас, граждане, уже билетов ниже полтинника нет!

У кассы был весь поселок, от матерей с грудными до юных таитян с картины Гогена [6], в одной легкой сеточке, гордившихся голым бицепсом.

Рядом с будкой кассира висела афиша с анонсом пьесы, прошумевшей в столицах.

— Актеры! Актеры!— И мальчишки, поправив наскоро ремень плоской коробки с товаром на руль, стрельнули встречать.

— Сама императрица прет, свои чемоданы несет, здаро-вая!— кричали мальчишки.

— А ведь похожа, я живую видела. И только подумать, из придворной кареты точно так выходила, а я таким же манером ей в спину...

— Только уж сама-то, чай, своих чемоданов тогда не носила.

— Гражданин кассир, почему именно нет имен на афише?

— А имена нам к чему же! Афиша давно напечатана, а уж труппу потом... подбираем на бирже. Кто свободен — одни к одному лепим спектакль. На выезд, в дачное место каждый идет на две роли. Есть которые и на три... вот один во дворе никак уж в князья гримируется.

— Ишь ты, под небесное под освещение! Эх, граждане, с голоду это небось!

Несмотря на зеленые шкалики, мерцавшие в зелени, в театральной уборной электричества почему-то еще не было, и актер, чернявенький, с волосатой грудью, мастерился под наружное освещение застегнуть на золотые запонки стоявшую лубом крахмальную грудь. Он гневно кричал в публику:

— Черт знает что — когда ж дадут электричество?

— Опоздать им, вишь, нежелательно,— пояснял лавочник,— на голых досках все бока здесь в театре обмять.

— Дачники не прежние, приглашать не тороваты, сами-то большинство полупролетариат.

— Вы по пьесе кто будете? Министр или князь?— жеманится дачница перед высоким носатым блондином.

— А вот угадайте?

— И меня угадайте.

И на скорую руку тотализатор. Ставят дачницы на актеров карамель «Иру» и конфету «Мишку»— наживают мальчишки.

Во дворе из-за князя, победившего крахмальную грудь, глянули воронова крыла парик, нос крючком, из-

под носа черная как смоль борода. Борода сказала брюзгливо:

— Мы в сараях ночевать не согласны!

— Это сам...— зашептались в публике,— это сам.

— Опоздаешь, на аглицких на пружинах поспишь,— крикнул из гущи голос,— всю труппу Собакин с выпивкой приглашает.

— У Собакина в кармане вошь на аркане, в луже спит, самогоном налит, го-го, не доверяйте, просвещенные артисты.

Наконец расшипелась, заработала станция, всюду вспыхнуло. Открылись двери и, заглушая визгом звонок, ринулась публика «стоячего» места. За ними публика выше и ниже полтинника.

— Вот они в ложе, глядите,— сказала Зоечка,— как иконостас разукрасились. Об нас шепчутся — Чушкова, Папкова и Краузе.

— Я бандит-шико, а вы моя жертва! Уж не войти ли мне в роль?

Появился пред началом антрепренер, он же суфлер, он же великий князь — героическое лицо пьесы, просил снисхождения за то, что гастролеры играть будут без декораций, без многих действующих лиц и опущенных за поздним часом нескольких действий. Он выражал надежду, что граждане найдут в себе достаточно собственного революционного воображения и заполнят сцену всей роскошью придворных и прочих буржуазных покоев.

На пустой сцене с красным клопиным диваном и симуляцией двух телефонов на дешевых стенах металась короткая полная «фрейлина», торжествуя по поводу собственных именин до тех пор, пока сторож театра не возник всей персоной без малейшего грима в открытых дверях.

— Здорово, товарищ Сигов,— узнали из публики.

Сигов, как давно надоевшую ему и вполне обычную вещь, возгласил:

— Их императорские величества.

Под руку вошли пренарядная, в дутом браслете, немецкая бонна с худым русявеньким денщиком, и началась по пьесе завязка последних дворцовых интриг.

Вот немка-бонна села на стул и взяла в руки «Прожектор»[7], а денщик, рассказав ей о перемене погоды,

двинулся было к выходу на прием во дворец. Но полная фрейлина, вспомнив, что она «бывшая фаворитка», стремглав ринулась ему на шею.

— При живой-то жене!— и кричала, и сердилась за отсутствие иллюзии публика. Кое-кто урезонивал:

— Да жена ведь не видит, гляди, в «Прожектор» уперлась.

— В самый в приезд иностранных гостей!

— В посещение германских рабочих СССР. Кусай себе локти, кусай, небось наша взяла!

Ах, какой скандал! Нет, Зоечка больше не хочет смотреть, лучше одной сидеть и мечтать, чем подобный театр...

— Почему же именно одной, если вдвоем?— И пожатием ручки Диего:— Вы пошли навстречу моим пожеланиям, пройдемте сейчас в парк прямо к гроту.

В парке березовые стволы томно белели горностаевым мехом и в грациознейшем менуэте то взвивался, то мел по земле кружевной шлейф ветвей. Луна стояла над липами; кусты дрожали от ее перебегавшего света, клумбы пахли левкоями.

— Плети турецких бобов — как лианы, и священной пагодой индусов предстает нам Салтычихин грот,— продекламировал Диего и, раздвинув ветви, вошел с Зоечкой в пещеру.

Здесь было сухо, тепло и совершенно чудесно. Вороненой сталью подбегала вода к песочной тропке у самого грота, а отбежав, серебрилась луной.

Диего, не сказав подобающих слов, захотел попросту целоваться. Вот еще — говорить? За слова теперь деньги дают. Но оскорбленная Зоечка ему с сердцем:

— Сперва заслужите, нарвите купавок.— И слабые руки толкают.— Вон! Вон! — И кокетливо: — Если нарвете из середины пруда, я вас поцелую. Купавок, и желтых, и белых.

Отбиваясь от объятий Пети Ростаки, Зоечка вытолкнула его вон из грота и сама за ним вслед на песочную дорожку. А на дорожке-то?..

На дорожке, отлитые луной, сомкнутые строем, рука под руку стояли: Чушкова, Папкова и Краузе. Они были зелены и безмолвны и, казалось, лишились движенья, едва Петя Ростаки, качнувшись с разлету, остолбенел перед ними.

Мгновение — с неимоверной быстротой, чуть сопя, одна за другой Папкова, Чушкова и Краузе стали снимать с себя кольца, серьги, часы и совать ему в руки. Потом, все трое, не вскрикнув, без оглядки, они устремились в аллею, как тяжелые камни, которые метнул великан из пращи.

Петя Ростаки бегущим кинулся вслед. Остановился. Его сердце билось, разбежались мысли. Одни руки поняли... руки стали совать по карманам кольца, серьги, часы.

— Бандит!— вскрикнула Зоечка и упала во весь рост на песок.

И как человек, за минуту ничем не отмеченный, вознесенный в вожди, себя ощущает вождем — Петя Ростаки, едва прозвучало: «бандит», стал вести себя с твердым знанием дела, как ведет удачно ограбивший.

Свернув в темную чащу, ускорил шаг, однако же не до бега. Сел не на полустанке, а на большой станции в поезд. Наутро в ломбарде на предъявителя заложил вещи, взял билет на юг, и только сидя на «мягком месте» и затягиваясь давно не куренной сигарой, он сказал сам себе:

— Хотел или нет, в конце концов я все-таки, значит, того... сделал «экс».

А Зоечка?

А с Зоечки снимали долго допрос, с каким именно незнакомцем была она в вечер ограбления на открытии клуба и в театре. Зоечка искренно плакала, что не знает, кто он.

Скоро Зоечку отпустили вследствие показания пострадавших Чушковой, Папковой и Краузе, что напавших на них было трое, преогромного роста, с противогазовыми масками на лице. Еще все три показали, что лишь необычайным самообладанием и отдачей всех золотых вещей им удалось спасти свою главную драгоценность — женскую честь, похищения которой вышеуказанные бандиты главным образом домогались.

ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Вынеслась колокольней в Солянку, почитай, столетье застыла в разбеге шоколадная церковь — Рождество на Стрелке. И все так же облуплена, и все в тех же подте-

ках, как четверть века назад, когда Таню Осберг увезли тетушки из института [1].

Тогда на этих присевших воротах, где сейчас над головами спешащих с портфелями в рабпросы и рабисы, как болезнь над кроватью в больнице, черным по белому: «Дворец труда»,— высоко подобранные, золотились иные слова.

Тане Осберг и ворота показались не те. Запомнились словно бы пирамиды в Египте, а выходит — попростел, запролетарился въезд.

Ну, а сама-то она, по трудкнижке совработник двенадцатой категории?

На правой группе, посаженной скульптором Витали, с отбитой подписью: «Просвещение» [2] — по-прежнему мать читает из каменной книги старовидному юнцу из Эллады, но на другой — отрок теперь лишен головы. И уже окончательно нет геральдических птиц — пеликанов, кормящих детей, столь известной в свое время эмблемы Воспитательного дома, любезной гражданам по бубновым тузам игральной колоды.

А ведь вот для дерева двадцать лет малый срок! Липы в длинной аллее против прежнего чуть потолще. Под липами тук-тук каблуками совбарышни стриженые, и в красных платках комсомолки, и толстовки, и френчи.

А бывало, здесь павами проплывал за классом «зеленых» класс «серых», весной в рыжих камальках, зимой в страшных пальто с пелериною «факельщик».

Ах, и памятен этот пролет в родовспомогательное... Отсюда гурьбой высыпали студенты вихрастые да лобастые, прескверно одетые, совсем не офицеры и не слишком-то мужчины.

Однако Валя Рокова за одного вышла замуж.

Студент с корзинкой пирожных, от Абрикосова конечно, шел из пролета, а ближняя в парах, Валя, уверенная, что студент по-французски не знает, сверкнув зубами на пирожные, молвила: «Assassinons et mangeons!» *

И тотчас студент, слепя такими ж зубами, краснощекий и ласковый, таким же, как Валя, прескверным французским: «Pourquoi assassiner? Prenez et mangez!» **

Этот студент стал вскоре Валиным «подоконным».

---

* «Убьем и съедим!» *(фр.)* — *Ред.*

** «Зачем убивать? Берите и кушайте!» *(фр.)* — *Ред.*

Это значило, что по субботам, когда студент был посвободнее, он стоял на часах после всенощной под окном дортуара, чтобы Валя Рокова, по пояс выпав в форточку, могла на бечевке, как рыбку, спустить ему белый узкий конверт. Студент, прочтя и запрятав «навеки» в тужурку письмо, привязывал на бечевку ответный конверт — голубой.

Выйдя из института, Валя Рокова вышла замуж за своего «подоконного».

У нее были милые журфиксы и милые дети, но она, как и Таня Осберг, не проговорилась ни мужу, как никому на свете, о том, кто были убийцами ее сестры-близнеца — Маши Роковой.

Машу Рокову в один весенний день предвоенного времени нашли рано утром в музыкальной селлюльке * повесившейся на двух полотенцах.

Черная длинная коса попала ей в петлю, и всем сразу показалось, что вокруг ее шеи обвился черный змей.

Но это только показалось. Когда снимали Машу коридорные девушки и «пыльная дама» в присутствии Гуг Гугича, они для скорости петлю на шее разрезали, отчего испорченным оказалось одно казенное полотенце, с распоротым номером. Другое же было с номером Маши — четвертым.

Допросов не вели, дело замяли, как ни кричали о нем по городу. Машу объявили нервнобольной и припадочной.

Что такое память у человека? Где гнездится она, не забывающая, неизменная, в том самом теле, которое с годами так изменяется, что ближайшими порой бывает не узнано? И перед кем, спрашивается, сейчас отвечать совработинку двенадцатой категории Осберг, ответственной в поведении своей совжизни перед управдомом, фининспектором, месткомом и выше, пред всей скалой учреждений и лиц, даже шепотом не предполагавшихся в тот год, когда повесилась Маша Рокова? Перед кем отвечать ей ну хоть бы за то, что полотенце-то с распоротым номером было ее и что своей рукой из него она наладила тугую петлю для Маши?

Чего не нанесло в четверть века? Только камням и деревьям время может быть нипочем — а для людей? В забвение канул век прошлый, и возник новый век.

---

* Келья (от *фр.* cellule).— *Ред.*

В личной жизни переменилось имя, положение, объем тела — в истории возник новый класс. Ну можно ли знать еще об обстоятельстве, давно погребенном?

Но два полотенца грубоватого холста — одно с меткой распоротой, другое с цифрой «4» ярко-красным крестиком — вдруг упали на два белых тротуара по обеим сторонам липовой аллеи и, как они, протянулись в бесконечность. Ноги сразу устали, сердце заленилось стучать. Осберг еле поспела в открытую калитку войти в сад и сесть на скамью, как на минуту в глазах ее стало темно.

Потом глаза вспыхнули и внимательно, как сторож, отвечающий за порубку сада, стали перебирать кусты ближние, дальние, и деревья, и незнакомые, новые поросли.

Но вот у забора все та же, ни с кем ее не смешать: одинокая, громадно расселась и, совсем не похожа на липу, чуть не до самого газона кринолином вокруг себя свесила ветви она.

Четверть века назад под этой самой липой Тания Осберг и близнецы — сестры Роковы — тянули узелок из казенного носового платка с черным клеймом заведения.

Узелок вытащила Маша Рокова, даже не побледнела, только сказала: «Ай-ай!»

Со стороны казалось, что девочки собираются играть обыкновеннейшим образом и тянут жребий, кому быть «квачом», а на самом-то деле один из трех белых хвостиков с узелком, плотно зажатый в полудетской руке, был жребий совсем не на то, кому бежать что есть духу, чтобы хлопнуть других по плечу, а только на то, чтобы завтра, за пять минут до звонка, пойти в селлюльку номер пять и там повеситься на крюке.

Совработник Осберг справилась с собой и вышла опять на аллею. Во что бы то ни стало надо было ей достать одну нужную профсоюзную бумагу.

Белый низенький дом и справа на нем: «Аптека» — вот и хорошо. Никакой аптеки прежде тут не было, да, почитай, и самого домика.

Но вошел рабочий в аптеку, приоткрыл на миг дверь — подмигнула со стола лампочка под просторным зеленым абажуром-колоколом,— и снова зачарованно, неотступно, лишая воли уйти, ее втянуло прошлое.

Ну как так ие было домика? Да в этом самом жил батюшка Добротворский. Такой точио зелеиый абажур, только ие иад электрической, а иад обыкиовеииой керосииовой лампой стоял иа белой вязаиой скатерти у окиа. В свободиые от уроков часы батюшка с виучкой иль старой ияиькой у всех иа виду часами играл в разиоцветиые шарики-солитер.

И когда сиротливые, иеобласкаииые девочки, чтобы иметь хоть кого-иибудь в этом мрачиом здаиии вроде родии, вдруг целым выводком увидали во сие, что батюшка Добротворский святой и после смерти ии за что ие разложится, и пустились бегать к иему в коридоры благословляться, батюшка покорио крестил их, кротко жалуясь, что ие придется ему и покурить в перемеику, и с доброй улыбкою, в виде компеисации себе, приглашал: «Ужо ие возьмут тебя иа праздиики — приди в гости поиграть в солитер».

Ничего умией и зиачительией от этого батюшки ие слыхали, а вот подите ж, ие иа иего, а иа другого, куды побойчей, иа академика — тоже вдовца — держали пари подсмотреть: что иосит ои под рясой — штаиы или юбку?

Опять пустили слух, что батюшка, если вдовец, то уж ему иичего мужского иельзя, и за плитку шоколада иа литии две крайиих в проходе взялись подсмотреть под ризу — узиать. И узиали: академик-вдовец иосил серые домоткаиые брюки, вроде как тротуариые тумбы.

При главиом входе, который сейчас совсем ие там, где стоял швейцар в красиой ливрее с орлами и булавой, сотрудиик Осберг с радостью увидала иечто окоичательио ие вызывавшее прошлого.

На входиой лестиице, давя размерами и как бы ие пуская дальше, стоял огромиый рабочий, подияв молот. Другая рука у иего была в рукавице, до того тяжелой, что страиио было, что ие оттягивала оиа ему плечо киизу. Напротив стояла работиица таких же великаиских размеров. Оба в прозодежде.

Сотрудиик Осберг совсем успокоилась: эти статуи как пограиичиые зиаки, за которыми безопасиость. За иими век иовый — и всему старому крышка. Оиа смело пошла иаверх.

Под иогой захолодели чугуииые плиты: круг с ориамеитом, так произительио зиакомый.

Прежде коридоры были сплошь выложеиы этими плитами. По иим водили в лазарет, чтобы выдериуть зуб,

или к начальнице за присуждением особо важного наказания. Тогда ноги шли так, чтобы попасть: край — середка — край. В конце если середка — будет все хорошо. И сейчас ноги стали так было ступать, но Осберг одернулась — ерунда...

Спросила того и другого товарища, как найти нужную комнату. Очень скоро нашла: строгая девушка с медицинским, внимательным взглядом проштемпелевала бумагу, научила, как дальше...

Сотруднику Осберг надо бы уходить, а она все стояла, переводя глаза с портрета на портрет товарища Ленина, где он то подымает руку, зовя «на последний и решительный бой», то, взятый много крупней натуры, высматривает сверлящими, умными глазами врагов пролетарского строя...

Под портретом Осберг прочла неожиданную, домашнюю надпись: «Товарищ, не кури!»

Прочла и большую афишу с обозначением дней разнообразнейших дискуссий, фамилии секретарей, председателей и наименования в кучу сложенных пакетов и книг. Все это была охрана, толща нового быта, все это, как кольчуга на нежном, уязвимом теле, ограждало совесть от прошлого. И страшно было выйти из этой рабочей безопасной комнаты бывшего физического или рисовального класса, потому что где-то уж близко, в черном коридоре, музыкальные былые селлюльки и среди них одна... номер пять.

— Товарищ, вам что же, собственно, надо?— подошла от своего стола та, деловая.— Или я вам объяснила неладно?— внимательно смотрят глаза.

— Извиняюсь, я так... я обдумывала,— и сконфуженно Осберг — вон, в коридоры.

Поселяется иной человек «от хозяйки» в чистенькой, оклеенной заново комнате и живет себе ничего, с примусом или керосинкою, пока кто-нибудь сдуру не расскажет: «А ведь комнатка пустовала оттого, что последний жилец из этого вот окошечка да вниз головой! Обои пикетами — это уж после него, для замазки».

И престранное дело: в досужий часок нет-нет, а измерит новый жилец время полета от окошка до мусорных куч и осколков красного кирпича там, внизу, в черном дворе. А как-нибудь под вечер или, напротив того, в се-

ренький час до рассвета, глядь, и перекинет новый жилец за окно обе ноги в драных подошвах.

Не стучись в прошлое — прошлое ринется и проглотит. На запор его, как лютого пса...

«Фермопилы»— звался в честь древней доблестной битвы этот узкий проход[3]. Здесь поджидали Евгения Петровича, чтобы спросить подробности про французскую революцию и еще раз потонуть в «ужасно-гипнотических» его глазах...

У окна рядом, глядя во двор с цветущим каштаном, в обнимку вдвоем и втроем, горько плакали весной горбоносые черные девочки, томясь по родному Кавказу.

«Оживление Советов, усиление кооперации — путь к укреплению союза рабочих и крестьян»— огромная красная лента, на ней белые, как снег, буквы — почему-то сохнет на этом паркетном полу... Да неужто это он, тот самый зал?

И увидала Осберг нарядную, залитую светом эстраду, хор певчих в кружевных пелеринах с розовыми бантами. Начальница, дородная, в атласном синем платье с треном и орденским знаком на плече, а рядом с ней — еще невиданный генерал, до того ужасных размеров, что кажется — он монумент. За ними инспектриса, фрейлейн Вальде, впадая от обожания с каждым шагом в глубочайший придворный реверанс, шепчет:

— O, der Zar! Der russische Zar! *

Вспархивает палочка в руках дирижера, выступает прекрасная пепиньерка[4] с букетом цветов, и торжественно, как «Ис полла ети деспота», хор поет нелепые, положенные каким-то немцем на музыку вирши:

Мы все девицы пук, пук,
Мы пук цветов несем...

А вот и средние залы с колоннами: здесь в день праздничный появились юнкера, офицеры, кадеты, студенты и, отвесив поклон по начальству, ожидали, когда подлетит к ним дежурная и спросит: «К кому вы?» И, едва выплыв из залы, припустится что духу бежать.

Осберг попала в третий этаж, где прямо в глаза яркая, изнутри освещенная, будто у нее какое-то идет свое кровообращение, надпись: «Гудок».

Затолкались быстрые молодые пескари в речной ряби — видать, писатели, одетые и раздетые: в фуфайках-сеточках, в разверстых апашных рубахах.

* О царь! Русский царь! (*нем.*) — *Ред.*

— Для воздуха одеваются иначе,— кидает мимоходом уборщица из старых.

Ах, эти медные в стенах дверцы как памятны! Как горели они в час заката, когда пронзительным золотым снопом пролетало солнце в узкий, как труба, коридор от окна до окна. Приготовишки кучами высыпали плевать в эти лучи, чтобы любоваться, как в них сверкают и бьются золотые пылинки. Приготовишкам мыльные пузыри выдувать запрещали.

Все, все запрещали синие старые девы: бегать, бороться, читать «ужасные русские книги», хотя безнаказанно можно было изучать французские непристойности по Рабле и Вольтеру.

В третьем этаже обегали вокруг всего здания дортуары с круглыми окнами, и сейчас выходящими в коридор. Было очень страшно, когда девочка Фарбова, лунатик, влезала в это окно и щелкала ослепительными челюстями.

А вот здесь, в куточке, был Максим-лавочник. За пять копеек у него чего хочешь бери — маленький, узенький фунтик. Был и мордатый приказчик Ефим. Ему длинная Леночка, потом небезызвестная московская актриса, написала стихи:

Тебя я вижу раз в неделю,
Ты нам гостинцы продаешь,
Ты за грушеву карамелю
Грош последние дерешь...

Вот столовая. Здесь началось.

Было как-то особенно подвально-сиротливо. К Тане Осберг давно на прием никто не ходил, читать было нечего. Она сказала за ужином своей подруге Вале Роковой:

— Котлеты опять из тухлого мяса, я желаю выразить протест — чвакнем огурцами в потолок, сведут в лазарет.

В лазарете водились русские книги, а на окнах стояли замечательные банки с наростами и безголовый, почти змей, таинственный, как сантиметр,— солитер. Совсем не тот, что игра солитер батюшки Добротворского, хотя слово то же.

Девочки чвакнули в потолок водянисто-желтые огурцы. Они тупо щелкнули и забрызгали рассолом снежнобелый покров. Безмолвная от распиравшего гнева классная дама свела обеих девочек в лазарет, куда тотчас вплыла начальница с красавцем доктором Гуг Гугичем. Барски картавя и негодуя, начальница спросила:

— И как только могли вы ос-ме-лить-ся?

Валя Рокова, боясь, что Осберг вдруг надерзит, спокойно сказала, что огурцом хотели обратить наконец внимание на то, что котлеты опять из тухлого мяса, о чем уже тщетно не раз заявляли...

— А у тебя-то дома, моя милая,— глаз начальницы презрительно прищурился и стал желтый и хищный, как у кобчика,— у тебя дома ужели кушают лучше? Ну, я не думаю: твоя тетушка целую вечность приходит все в том же платье. В карцер их на неделю!— И уплыла.

В карцере няньки делали послабленья, и можно было бегать друг к другу. По горячему пылу решили было публично побить начальницу, как гимназисты, случалось, били дурного директора. Но скоро раздумали: обе были маленькие; чтобы ударить, придется подпрыгнуть — это выйдет смешно. Перебирая все виды протестов и мести, выбрали нечто вроде японского харакири: решили повеситься. Но, конечно, повеситься так себе, только для начальства, и после обморока, когда все письма будут обнаружены, непременно ожить.

В письмах к любимым учителям, инспектору и врачу было подробно изложено, почему девочкам жить так тяжело, что если перемен не последует, они станут целыми классами вешаться на крюках.

Когда вышли из карцера снова в класс, к их «союзу возмездия» присоединилась и Маша Рокова, сестра Вали. Она была маленькая, тоненькая, совсем тихая девочка и любила то, что все ненавидели: штопать часами чулки.

Маша сразу сказала:

— Повеситься надо мне, я по весу всех легче, и подо мной крюк не погнется.

Она же указала, что в селлюльке номер пять чинить взяли лампу и там крюк свободен.

Таня и Валя настояли, чтобы все было как в книжке и тянули бы жребий.

Узелок выпал Маше, и хотя она сразу сказала: «Ай, ай»,— но тут же прибавила:

— Я так и знала, что вешаться надо мне.

Таня Осберг стащила у приготовишек полотенце, потому что одного Машиного было мало, распорола номер, хотя это было ни к чему: узнать пропажу могли все равно, и за малолетием приготовишку нельзя было даже «подвести».

Но Таня все делала истово и на Машу Рокову накинулась с такой яростью перед самым рассветом, в тот день...

Маша вдруг стала плакать, ей сделалось страшно повеситься хотя б на минутку.

— Ну, вспомни Деция Муса, как он на белом коне ринулся в пропасть![5] Притом он ведь взаправду и все-таки не струсил, а тебе и ми-ну-точ-ку страшно. Да это просто так прыгнуть в холодную воду: сразу обморок. И все, решительно все висельники говорят: что это очень приятно. Впрочем, ты сейчас можешь выйти из «союза возмездия», мы сумеем повеситься сами...

— Ах, нет, вы обе толстые, вы крюк оборвете, и потом мне уж так вышло...

И Маша Рокова, заплаканная, тихонько крестясь для храбрости, пошла без десяти семь в селлюльку номер пять повеситься.

В семь часов, когда начинается первый час музыкальных упражнений, Осберг и Валя должны были войти, созвать криком побольше народу, при всех найти письма и непременно отдать по их назначению.

Когда Таня Осберг и Валя бежали по звонкому от пустоты коридору, их на повороте поймала бессонная и мрачная инспектриса старших.

И началось: как смели прийти до молитвы? да куда? да зачем?

Обе молчали. Инспектриса приказала им войти в ближайший класс: заперла его и сказала:

— Когда все придут, разберем это дело.

— Ведь не дура ж она, чтоб повеситься?— все твердила про сестру Валя Рокова и в ужасе не сводила с Осберг больших пустых глаз.— Ведь не дура? Ах, зачем ты ее ночью бранила?

— Кроме нас, ей в селлюльку никто не может постучать, а без стука она не станет. Она, наверное, отложила,— успокаивала себя и подругу Осберг.

— Ах, зачем ты ее ночью бранила?— еще и еще плакала Валя.

Осберг стояла перед бывшей музыкальной номер пять и не могла уйти. Между тем кончился советский рабочий день, проходили с портфелями мимо и заведующие, и секретари, и машинистки.

— Товарищ, вы, верно, больны?— И опять внимательный, точный взгляд той служащей, что дала без задержки бумагу.— Отчего вы все еще здесь?

И вдруг Осберг не захотелось отмахнуться от вопроса, захотелось сказать по-человечески только правду, как есть. И она сказала:

— Я училась здесь в институте. Было очень тяжело. Нас трое решили выразить протест. Одна должна была примерно повеситься, чтобы придать цену обличительным письмам, которые были при ней. Маше Роковой выпал жребий. Я с ее сестрой должны были поспеть вовремя, чтобы стукнуть ей в стекло в виде сигнала и, созвав побольше народу, вернуться снова, спасти ее и взять важные письма. Но вышло так, что нас задержали, а условленный сигнал прыгнуть Маше в петлю дала мимоходом пыльная дама, просто так, для порядку, услыхав, что в музыкальной селюльке не упражняются. Маша Рокова повесилась. Когда ее сняли, было поздно, она умерла. Если б я не струсила и, несмотря ни на что, добежала, она бы осталась жива теперь.

— Пыльная дама? Какое нелепое звание!— сказала служащая.

— Были и ночная дама, и дама башмачная...

— А письма обличительные? Надеюсь, доставили?

— Письма сожгли. Все замяли. Четверть века этому делу, а мне вот — словно вчера.

— О сироте кому было шум подымать?— вступилась старуха уборщица.— Я этот грех помню. В лазарете кум мой был ламповщик. Там врачи промеж себя зашлись, спорили. Один говорит: «Не попади ей коса в петлю — оживела бы», а другой поперек ему: «От косы ей скорая смерть!»

СОВМЕСТИТЕЛЬ

— Ой, напьюсь я, Иван Пантелеич, напьюсь да и в реку...

— Брось, Опенкин, интеллигентный подход. Оздоровишь свой состав, все дело иначе увидишь,— сказал с весом Иван Пантелеич.— Время-то нонче какое? Бывало, чему раз научился — как дятел клювом, всю жизнь и долби. А сейчас тебе выборов — всесоюзный масштаб. Правда, доходы не те, зато уваженья, Опенкин, прибавилось. Самому наркому я калош не подам, и хоть с кем говорю — он мне принципом в глаз, я ему принципом в глаз. Опять-таки заседанья жилтоварищества: пусть

я нонче технический персонал, а не швейцар в ливрее, однако в порядке дня слово имею. Недалеко ходить — на вчерашнем собрании: хоть у нас и квалифицированные, говорю, граждане, а созидательного отношения к уборной нет! Раз я пошел — сидит. Чайку испил, двукратно пошел — сидит. Щадя, говорю, честь этого гражданина, фамилием его оглашать не желаю, однако предлагаю в протокол, что у нас есть в наличности ненормальный подход к уборной. Посмеялись. А между всем прочим плакат у нас нонче вывешен, как у телефонного аппарата: «Не долее пяти минут!»

— Из уваженья шубы не сшить,— сказал тускло Опенкин.— Вам хорошо: и при нонешней жизни досталось на стуле сидеть, а вот моя действительность без частной торговли — истинно «квас без игры»! Блевать я хочу на такую жизнь. Словом, кооперация меня удушает, и вполне я отчаялся.

Опенкин сделал усилие вырваться из могучих тисков Ивана Пантелеича, взявшего его под руку, и свернуть в пивную, но Иван Пантелеич еще крепче прижал его к своей мощной фигуре и, торжествуя свое превосходство над ним, возгласил:

— Не в пивную, Опенкин, а как древнеримские греки — на ста-ди-он!

— Люди без штанов бегают, а мне смотреть? Да у нас таким вслед плюются...

— Провинция! Своего глазу нет — из чужого погляди, может, что и высмотришь... У меня, Опенкин, от всех этих войн и внезапностей мозоль на душе и глаз вполне стал бесчувственный. Самый справедливый стал глаз, что в европейском масштабе, что в происшествиях дня! Намедни вот случай вышел, ну прямо в твой огород... И как довольно мне на совести и одного «загадочного трупа под Иверской» [1], не успокоюсь, Опенкин, пока не погружу тебя в новую Елдань — стадион. На этом стадионе, брат, от всех союзов граждане бегают, а мне от наших пищиков и тут уваженье и честь: досмотрите, Иван Пантелеич, чтобы там без фальши, не возьмут ли первенство наши именно члены?

— А чем именно труп этот вам, Иван Пантелеич, загадочный?— оживился Опенкин.

— Да, сказать, ничем именно: мужской труп, все на месте. Газетчикам заработать надо. Сила в том, что я этот труп лично знавал.— Оглянувшись на пешеходов, Иван Пантелеич понизил голос.— Ну и знавал: Рубакин

Пал Палыч. От мечтаиья помер. На груди моей прнзианье сделал, слезамн нсшел. Эх, горе его! Дело-то было знмою — ни скачек, ии стадиоиов, чем бы думки его перебнть. Ну и пошел ои — по твоему вот коиспекту — виом заливать. Месяца два протянул и кричит: «Возьму под Иверской-матушкой и помру, коли чуда со мной ие свершнт». Ну и помер — иаписали: «загадочиый». Да мне эту загадку одиим словом раскрыть — а я молчу. В глубь предмета люблю входить, а войдя, вижу: мертвый человек — определеиио со счетов долой! Зиаю даже, что имеиио морфием отравился, ио волокиты иметь ие хочу.

— Отчего ои убил себя, Иван Пантеленч?

— Едннствеиио от мечты. Расскажу тебе это дело, Опенкнн, чтобы сам ты подобное броснл. Предмет, заметь, безразлнчен. Тебе торговое — иежинский огурец, покойному — жеиское белое платье с лиловым бобом. Только один уговор: айда иа трамвай н за город!

— Воля ваша,— сказал Опенкии, покорствуя железиой десице прнятеля, тяиувшего вдоль по бульварам,— везнте, куда хотите!

Сели. Помчался трамвай, грохоча больше, чем в городе, и поиес без коица по предместьям. Иваи Пантелеич склонил крупиый свой иос и бритые сииие щеки к Опеикиину:

— Вот теперь и послушай, сколь вредно мечтаиье. Горемычиого Рубакина еще в воеииое прежнее время произила любовью дамочка в белом вышеуказаиином платье с лиловым бобом. Романс ему спела ночью, а ему из краткосрочного отпуска наутро иа войиу. «Полюбите меия,— говорит Рубакии дамочке,— хоть иа одну эту иочь. Умирать я иду, молодому существу моему будет увечье, так чтобы имеиио было что вспомяиуть». Дамочка отказала. Взяла обида Рубакниа, вынул левольвер и все дыхательные пути себе прострелил. Залечнли. Женщиину ту потерял ои из виду в дни революцин н в голодные, а сам, между прочим, хоть с кашлем, а саботажу ие предался, поступил к иам в Нарпит. И вот прошлым летом на Лубяиской площади, иа иоль стрнженный, торгует Рубакни ермолку. Гляиул в Проломные ворота — н ермолку, говорит, из рук уронил. Идет от Проломных ворот то самое, воеииое белое платье с лиловым бобом. А иад платьем голова как лунь седая. Однако всмотрелся — без сомиеиия, она. Подошел: «Это вы, говорит, и в том в самом платье? Интересуюсь зиать, как это вы его

сохранили?» А она в ответ: «Эта мануфактура ужасно прозрачная, в голодное время бесценная, даже брюквы за нее не давали,— вот и сохранилась. А мебель, говорит, я всю продала. И муж, говорит, у меня умер. И хоть голова, говорит, поседела, но теперь я есть интересная вдова. Комнаты же мне в чрезмерно населенном городе Москве нипочем не найти, и уплотняюсь я у знакомого в сундуке...» И в скором времени дала эта женщина Пал Палычу Рубакину понять, что на все окончательно готова за полкомнаты и горячее. «Иллюзия моя умерла,— сквозь слезы кричал он,— иллюзия!» Уж я утешал: «Образумьтесь, говорю, ведь университет вы кончили, иллюзии же сплошной опиум лишь для народа». Нипочем. «Я, говорит, так воспитан, что без этих иллюзиев жить не могу. Последняя ставка, кричит, чуда испробую! Беру полную нагрузку морфия — и под Иверскую». Вот намедни и взял.

— Привилегированный класс,— сказал Опенкин,— они всего были объевши. А вот за что именно торгового человека теснят? Скажем, специальность моя — нежинский огурец, так ведь мне каждый бочоночек что родное дитя. Теперь, значит, от собственной стойки куды мне? Куды?

— Сказано, Опенкин, на стадион! Новым крещеньем прочистишь состав и профессию сможешь взять. А посему оздоровляй себя по иному конспекту, чем Рубакин.

— Да я что, Иван Пантелеич, разве упираюсь? На стадион так на стадион! И то племянник Сенька уши им прогудел. Мы его по родству, если слышали, Сенька Штопор зовем; он тут бутылкам на фабрике пробки вставляет, так поверите ль, политграмоту, ровно «Верую», так на память и чешет. А насчет марокккских делов[2] все башкою мотал: «Нашей, орет, санкции нет, чтобы рифов решать...» — «Пузырь, говорю ему, да Морока та где?»—«За окиянами».—«А ты небось на Солянке, на Вшивой горке живешь?»—«Хоть бы, грит, дяденька, я на самой крыше Большого театра, как новомодные беспризорные, жил,— за плечьми у меня профсоюзы стоят, за профсоюзами всесоветская европейская круговая порука. В скором времени мы некоторым державам и чихнуть не дадим!» А мальчишечка, Иван Пантелеич, глянуть — хлюпик, червь болотный. «Да тебе, говорю, в здравотделе глисту выгоняли!» Ну, он тут и снахальничал с этим вот стадионом. «Хотя бы и выгоняли,— фырчит носом,— а под своим нумером я в стадионе хожу

и фамилие мое уже раз было в газете как прибежавшее ие последиим...»

— Стадион — оздоровительиый коллектив!— И самодовольно заключил Иваи Паителенч:— А я, выходит, ие кто тебе иной, как новый крестиый-оздоровитель. Ну, приехали, вылезай!

Чуть укачавшись в шатком, валком трамвае, вместе с публикой двииулись вдоль по желтому, крепко убнтому груиту иа обшириый стадиои. Вошли.

Со всех сторои прямыми кускамн ряды восходящих скамеек. Посредн зелеиый ковер газоиа расчерчен белыми змейками.

— У древнеримских греков скамьи шли по кругу,— уроиил Иваи Пантелеич, важиый, уже взволнованный, как участники.— Из боковых дверей, Опенкии, в исторические времеиа спускали тигров и львов.

За местами зрителей воизались густо в иебо тоикие зелеиые елочки, а иад ними, как нх толстые теткн-дозорщицы, осели кудрявые древние ели. Высыпались цветииком девушки, полосатые, белые, голубые, голоиогие, голорукие, с задориой мальчишеской стрижкой. У каждой иа грудн квадрат с большим чериым иомером.

— А не стыдио это им, как в предбаиийке?— зашептал покрасневший Опеикин.— Замуж, чай, после этого мало кто и возьмет?

Услыхали. Засмеялись кругом:

— Нониче сами выходят.

Но Иваи Пантелеич ие сдал.

— Один тут учитель раскрыл, что во времеиа историческиe жеищииы бегали миого голей, чего иаш Советский Союз уже ие одобрил.

Из лейки тонкой белой струйкой обиовляют известью по серой широкой дороге для бега четыре коицентрических круга. По кругам бегуи в синих трусиках размииался, как медведь, налажнваясь для бега в тысячу метров.

— Эти там — чисто мякиииые воробьи!— по-детски смеясь с захлебкой, указывал Опеикин иа бегуиов, иадевшнх пнджаки поверх одиих трусиков.

Из публики им задиры кричали: «Шантеклер, трясогузка!..» Оии ие слышали ничего и, будто бодаясь склоиеииыми головами, махали в азарте руками, крича о том, кто, по их мнеиию, «дойдет» первым, кто «вырвется», кто «сойдет», ие дойдя.

Под апподнсмеиты н восторженный гул вливались иа стадиои физкультуриые коллектнвы уездов, потрясая самосшнтымн «тюнямн» [3]. Тут же, иа траве, ловко, как в лодочки, в иих влезали иогами, н смеялись, н прыгали, н, как зайцы, иеслись по кругам.

Волнеиье, веселье. От голых тел, от солица н воздуха, как от виив.

— Иваи Паителеич, иу н резво́ же тут. Совсем как паренечком в деревне: вот-вот все в речку кииемся — поплывем. Ей-бо, здоровнтельио...

— Ну то-то же,— снизошел Иван Пантеленч, ухмыльиулся.— А как все побегут, н ты, Опенкин, будто с иимн — всю старнннную свою кровь разобьешь.

У Ивана Паителенча иа стадноне знакомства:

— Нумеру двадцать первому, нумеру третьему, иумеру пятому почтеиье!

Последиий, голеиастый, волосатый, как кентавр, задрав иогу, осматрнвал, крепкн лн шнпы.

— Ужелн подкован?— с восхнщеннем входил уже в дело Опеикии.

— Чтобы ноге не скользнть, легкой атлетнке по штату шесть шнпов.

— Настенька, товарнщ Настя!— зашумелн труснкн.

Но проиеслась, не ответила, вся голубая, невидаииой величины бирюза. Кулачкн к грудям, стройиые ноги, как крылья, кудеркн — золотое руно.

— Бегчваиство! — как мяч, ей вдогоику.— Бегчваика!

— Совсем коин, го-го... Иван Пантеленч, конн! Все у иих жилки иапружены.

Вдруг весь ряд прнсевшнх на скамью перед бегом завернул правую иогу на левую н, дрннь-дрннь, затеребнл пальцамн по нкре. Смотрелн в одиу точку, бездумно, безмолвио, делали дело — массаж.

— Ишь, чертн, дреиькают,— обозвал нх Опеикии,— ровно скрнпкн смычкамн. Оркестр, Иван Паителенч, настоящнй оркестр!

Солице стояло над стадиоиом снльное, молодое, н казалось, это оио держит в высоте нежнейшнй голубой купол, ие давая ему опасть.

С трибуны судей возвыснлся человек в яркой повязке н вострубнл в рупор, кто нменно бежит н какого союза. Все глаза кииулись к алым, синнм и белым трусикам, как большие цветы брошенным чуть-чуть друг перед другом на три коицентрнческих беговых круга. Вызваиные сталн

ждать окрика «начинать», упершись рукой в правое колено. Сзади них врос в землю некий плотный в пиджаке. Как памятник, он тяжко темнел среди разноцветных кусков. Памятник вознел вверх негибкой рукой красный флажок и, отрубая им книзу, выкрикнул: «Ать!» Бегуны взвились и кинулись.

Облегченно вздохнул вместе со всеми Опенкин и прошептал:

— Иван Пантелеич, спасибо вам! И без вина уж готов...

— Вот видишь, а упирался! Только две большие разницы, как говорится: от употребления вина, Опенкин, ты — образ свинский, а тут не иначе — древнегреческий.

Бегуны первый круг солидно бежали «бычками», на круге пятом разинули рты, как рыбы, взятые из глубин, и в последний свой круг, перед трибунами судей, уже секли воздух руками, как волны бешеный пароход, забросив голову и пуча глаза. Достигнув вожделенной ленты финиша, они с разбегу сорвали ее и, опутавшись ею, как тонкими змеями, замерли.

Предсказанье Ивана Пантелеича сбылось. Опенкин уже на втором кругу бежал мысленно с бегунами. Когда отмеченный им отставал, Опенкин лез вперед, на чьи-то головы, и, как на охоте легавую, горячил: бери, бери!

В пылу подсоединились к нему двое-трое каких-то и, как на бегах, открыли «тотошку». Опенкин ставил пивом и горькой то на голубого, то на полосатого.

Иван же Пантелеич, досматривая, чтобы судьям быть «без фальши», приперся к самым трибунам и с Опенкина поля зрения вскоре исчез.

«Тотошкины молодцы» отмечали в блокнот за Опенкиным то и это, изредка предъявляя листок для проверки. Опенкин кивал всем, не глядя, что верно. Он боялся неладно вздохнуть, наигрывая всеми жилками нужный темп, чтобы вместе с ребятами прыгнуть без «смазки».

Рабфаки, пищники, вузовцы прыгали с места сперва на высоту один метр, и вот уже на метр сорок...

Выкликали двух: один горделиво подходил вплотную к жерди, положенной на объявленной высоте, другой готовился. Прыгун взметывал нехотя руки, утаптывался, напрягал, как стрела, мускулы и вдруг всем телом: взлет — перелет.

— Есть! Нет!

С одними Опенкин легко перепархивал своей хрупкой фигурой, с другими, неудачными, сдернувшими носками жердь, жирно крякая, падал в песок.

— Ну и баня у вас...— говорил он, блаженствуя, ловкачам, отмечавшим его проигрыш,— чисто упарился!

Прыгуны отпрыгали. Перед глазами Опенкина вырос женский цветник. Девушки — голубые, пунцовые, полосатые,— жужжа, как веретена, ровнялись на прыжки в длину.

— В раю, чисто в раю...— И Опенкин поставил на бирюзовую уже не на запись, а наличностью светлый, как она, новый серебряный рубль.

Смотреть на женщин «тотошники» дали Опенкину бинокль. Женщины были все молодые, гибкие, ладные. Ловко ставили ноги, слегка упершись руками в бока, как стрелы летели вперед, с силой врывались в песок. Прыжок тотчас мерили судьи.

— Ласточки, птички певчие...— И, вспомнив последнее, самое нежное, что знал, Опенкин прибавил:— Огурчики!

Бирюзовую в длине прыжка покрыла полосатая, и светлый рубль Опенкина потонул во тьме бездонных карманов новых приятелей.

Огорчиться он не поспел. Объявили женский пробег на шестьдесят метров. Когда сзади детский голосок, то взвиваясь, то падая, зазвенел в одобрение всех обгонявшему номеру: «Ма-ма, моя ма-а-ма!», Опенкин, окончательно вне себя, заблеял вслед ему тенором:

— Ма-а-ма!

Еще девушки крутили рогатый мяч и красиво, широким размахом бросали его кто дальше. Метали диск, опять бегали...

Второй гильдии бывший купец Опенкин, науськиваемый ловкачами, разрешал все азартней свой сердечный восторг. Проиграв деньги, поставил брюки. Проиграв брюки — пиджак, сапоги. И странно: стоило ему сделать выбор, как состязавшийся начинал спадать и «сходил».

— Не иначе напущено,— конфузился за «смазку» Опенкин и с последней надеждой перебить чей-то злой глаз принялся ставить исподнее.

— В райском виде его закрепим, как мать родила...— подмигнули каким-то своим ловкачи, выводившие Опенкина под руки освежиться. Обойдя ограду, они юркнули с ним за какие-то палисады и в укромном погребке предъявили свой счет.

На деньги попили вместе. Потом Опенкин смутно понял, что его с какими-то вредными ему мыслями подзадоривают раздеваться и «брать высоту». Еще выпили на счет хозяина, за что, проникшись к нему доверием, Опенкин уже сам захотел раздеваться и идти в бег на скорость, но смущало его, что нет у него трусиков. Трусики дал опять-таки хозяин, и немедленно Опенкин, оставив ему все свое на хранение, пустился в бег на шестьдесят метров, и на тысячу метров, и на все десять тысяч метров.

. . . .

Опенкин уже несся, запрокинув голову и ловя воздух, как это делали перед финишем бегуны. Он первым сорвал трепетавшую ленточку у трибуны судей, он уже всеми порами слышал восторженный рев скамей,— как возникший перед ним Иван Пантелеич вдруг грубейше свалил его с ног. Поливая ему холодной водой голову, заорал:

— Да прочухайся, окаянный!

Опенкин открыл глаза и враз протрезвел. Он лежал в лесу в одних трусах. Сквозь огромную ель жарило солнце. Он стал соображать, чье оно? Вчерашнее или сегодняшнее? Но сообразить сам не смог. Крупный нос и синие гневные щеки Ивана Пантелеича разъяснили.

— Всю ночь тебя, лешего, проискал, чтобы раньше милиции подобрать. Вставай, изображай заблудшего физкультурника. Хоть трамвай тебя бы забрал! Живо: раз! два!

— Раз, два...— пошатываясь, утверждался вертикально Опенкин, а Иван Пантелеич над ним горестно изрекал:

— Я из свинского вида хотел тебя в чистый, в древнегреческий пропереть, а ты почто, бесштанная сволочь, совместителем вышел?

Из цикла «ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ»

ЗАСТРЕЛЬЩИК

I

Памяти Б. Ф.

— Тетя Софи, почему говорят про вас — Софья Ивановна, про папу — Иван Иваныч, а про деву Марию просто — дева Мария; как ее дальше?

— Дальше чего, мой друг?

И, перестав считать иголкой узор, тетя Софи опустила вышиванье и взглянула на пол, где Жоржик, лежа на животе, красил «Поклоненье волхвов» [1].

— Ах, милый друг, после радости всегда столько страданий! Бегство в Египет, проповедь, крестные муки — «и меч пронзил сердце ее...» [2]

— Я вас не про урок...— оборвал Жоржик,— я про то, как она дальше? Вы — Софья Ивановна, папа — Иван Иваныч...

— Акимовна, она, Жорженька, Марья Акимовна, ведь тебе ее как по батюшке? — высунулась из соседней комнаты няня.

— Ну вот, вот! — обрадовался Жоржик и слизнул с головы святого Иосифа лишнюю краску.— И отчего это няня всегда угадает, а вы не умеете?!

— Довольно пустяков, мой милый,— сухо сказала тетя Софья.— Садись хорошенько за стол, мне надо тебе кое-что сказать.

Жоржик сгустил кляксу ослу на хвосте, бережно положил книгу на окно, потом сел против тети Софи на табуретку и уставился в хорошо известную ему бородавку между бровей.

«И стричь не поспевает, ишь волосы лезут, будто веник! А глаза — пруд: мутноватый, зеленый, бабы только что в нем белье полоскали...»

— Завтра тебе девять лет, милый друг,— будто по книжке, говорит тетя Софи,— и, как всегда, ты получишь подарки. Вот я тебе предлагаю: отдай старые игрушки бедным маленьким детям! Ты их, верно, нередко встречаешь: оборванные, без сапог...

— Так я им лучше все пополам,— сказал быстро Жоржик.— Сапоги, даже желтые, если хотят, а штанов сколько угодно!

— Совсем это, мой милый, не то,— поморщилась тетя Софи,— и не выскакивай с своим мнением! Я сама повезу игрушки в приют. Марья Тимофеевна уже собирает для елки. Отбери какие получше и заверни мне в бумагу.

— Старые игрушки невозможно отдать,— взволнованно сказал Жоржик.— Мы с Петькой вчера животы всем перебили, верблюды нагружены для пустыни, а у пастушки только что родилось.

— Опять Петька из кухни ходит? Разве я не сказала, чтобы он только после обедни, когда в чистом белье?

— Как вы всё говорите нарочно,— презрительно усмехнулся Жоржик.— Если нам в понедельник играть захочется, так на неделю откладывай? Или вот вчера слон хобот в лианах запутал, пополам рассадил, разве такую операцию без ассистента возможно как следует сделать?!

— Ты, мой милый, дерзок и не по годам глупый мальчишка. Без разговоров, отбирай игрушки!

Тетя Софи юрко засеменила к дверям, распирая острыми локтями свою серую пелеринку.

— Кукиш тебе, да без масла!— послал вслед Жоржик и, схватив картонку с игрушками, помчался к кухаркину сыну.

— Петька, неси живей на чердак, паучиха отнять хочет, да смотри, чтобы все налицо оказалось: шестеро диких, пустыня, паровоз и восемь животных.

— Очень мне нужно,— огрызнулся Петька и, косясь на мать, занятую с дворником, многозначительно зашептал:— В воде нонче тепло, идем в раки! И попович приехал!

— Стяни только говядины,— посоветовал Жоржик,— ворону когда теперь раздобыть?

— Georges, où êtes-vous, Georges? * — завизжала на весь дом тетя Софи.

Петька свистнул и дернул с игрушками на чердак, а Жоржик, услыхав на парадном беспокойный звонок, притаился за дверью — подсмотреть, кто пришел.

— Жорж, если ты мне сейчас не ответишь...— уже совсем близко ударил в ухо сердитый голос и, выждав, отчетливо произнес с каким-то особенным ядом, растяги-

---

* Жорж, где вы, Жорж? *(фр.)* — *Ред.*

вая слова:— А, это ты, Сергей! Потрудись, милый друг, в кабинет, мы с братом давно ждем тебя.

Сережа Извольский, племянник отца, дышал так тяжело, как, бывало, когда, играя в железную дорогу, иесся впереди паровозом. Глянув в полуоткрытую дверь, он не схватил Жоржика за уши, чтобы показать ему Москву, даже ие улыбнулся — придерживая шашку, быстро прошел через зал. Прнняв необычайные признаки во внимание, Жоржик кинулся к кабинету и, скрыв туловище под диваном, далеко выставил ухо.

Не все было слышно. Сережа часто сморкался, и, если б он не военный, можно было подумать, что он плачет. Тетя Софи злобно кряхтела, а отец строгим голосом говорил иепонятное.

— Одним словом, я больше при казни невинных присутствовать ие могу... это противно моей совести!— громко вскрикнул Сережа.— И ведь не денег прошу, а занятий, хотя на первое время; потом сам найду.

— Исполиение своего долга есть подчинеиие закоиу, и оно не может противоречить ничьей совести! Притом, с точки зрения государства...— прервал Сережу отец, и Жоржику было так удивительно, что отец стал читать вслух свою газету после того, как у Сережи, словно от большого горя, дрогиул и сорвался голос.

Желая проверить глазами происходящее в кабинете, Жоржик приподнялся было, чтобы наставиться в дырку, но Сережа так неожиданно распахнул дверь, что он едва поспел юркнуть обратно под свой диван.

— А я говорю вам: совесть больше всяких законов. Ваши приговоры — одно надругательство, а сами вы — камни. Да, не люди, а камни...

И, не простившись, Сережа бросился вои, едва поспев накинуть на плечи пальто. Жоржик собрался было за ним следом, ио большие двойные подошвы тяжело переступили порог, и, иапирая всем грузным туловищем на шаги, отец стал ходить вдоль по залу, а вокруг него, как проворные мыши, засуетились прюнелевые башмаки тети Софи.

— Пусть, пусть, голубчик, попробует без двадцатого-то числа! Не то что о-де-колоны с перчатками — в баню сходить будет ие на что. «Мне, дядюшка, совесть не разрешает присутствовать при казни иевинных!» Скажите, какой неожиданный рыцарь нашелся...

— Для нас, видите ли, закон был,— остановились широко расставлеиные тупые носки,— а у них вместо за-

кона какая-то «своя» совесть... Очень удобно. Иному слюнтяю и курицу зарезать жалко, а другой экспроприации организует — и оба они по «своей» совести.

— А всего удобнее, mon cher, им без всякого риску от нас, от «бессовестных», денежки получать! — подскочила тетя Софи.— И ведь в конце концов, ты ему дашь, Иван Иванович, уж не утерпишь, если оборванцем на улице встретишь. Из военной-то службы куда ему? Разве к работе годен?

— Нет, как они только одного не поймут,— разволновался теперь и отец,— их точка зрения — отрицание государства, отрицание культуры; их точка зрения — Диоген в бочке! [3]

И, сотрясая пол, Иван Иванович затопал обратно в свой кабинет.

— А все-таки, если деньги ты ему дашь, значит, сочувствуешь! — замелькали быстро-быстро, словно черными языками задразнились из-под серого подола, прюнелевые башмаки.

«Паучиха проклятая, ведьма...» — под диваном злился Жоржик, представляя уже себе, как Сережа Извольский, не найдя места, весь обросший волосами, голодный ходит по улицам и все повторяет: «Что делать? Разве мог я присутствовать при казни невинных...»

Невинные — это значит: перед ним стоял человек с таким лицом, как было вчера у Авдотьи, когда тетя Софи ей кричала: «Признавайся, ведь это ты стащила чайную ложку?»

«Я невиновная,— сказала Авдотья,— за что обижаете?» И, вся белая, она затрясла губой, а животу стало так холодно, холодно... еще немного, и сам бы заплакал.

Так и Сережа: разве ему возможно смотреть, если повешенный человек скажет: «Я невиновный»?

«Нет, повешенный человек ничего не может сказать,— прервал себя Жоржик, вспомнив разговоры дворника.— Он с головы до ног весь закутан в белое, как на лето от моли зашитая шуба, только качается».

Ну, все равно, еще жальче, если не говорит, а только качается.

Конечно, Сережа должен уйти!

А все-таки, если снимет форму, непременно начнет спать в ночлежке. Дворник много раз там был: все, говорит, из военных, поручики.

Был бы Сережа уже капитаном — другое дело.

Капитаны счастливые!

Вот иа афише недавио стояло: «Человек с каменной головой — капитаи Дюбароль».

Весь в орденах, глотает иголки и пьет керосин.

А другой капитан — из Бразилии, тоже со звездами, тот показывал девицу Розу до талии. Оиа живет иа столе, потому что у нее совсем ног ие выросло.

А все-таки, если без денег, плохо Сереже; что он купит без денег?!

У, дрянь, она, паучиха проклятая, жаба с бородавками, вот ее взяли бы да и приговорили повесить!

От бессильного гнева больше не в силах лежать под диваном, Жоржик иа четвереньках пробрался в коридор и стремглав кинулся к няне.

Няня прыскала белье и ездила горячим утюгом по шипящей дорожке.

Жоржик очеиь любил смотреть, как из жеваного белье становится гладким и от иего пахнет праздииком, ио теперь н не глянул.

— Няня, а кто же приказывает людей казнить?

— А которые, Жорженька, за порядком смотрят, чтобы ие безобразничали, чтобы на свой голос не кричали...— с удовольствием нажимает няня привычной рукой на мелкие накрахмаленные складки, и они, как сахар сверкающие, ложатся одна на другую, словио и не их только что в мыльной воде терзала прачка.

— Няня, а которые за порядком, те, уж иаверное, всю правду зиают?

— Ишь что выдумал.— Няня с неудовольствием приподняла утюг.— Всю правду одни только старцы ведали, да с собой и унесли. Да ты ие егози под руку, смотри, пузыря достанешь.

— Ну, ну,— заторопился Жоржнк, и, вздернув рыжне брови, открыл рот, чтобы лучше поймать слова.— Ты, няня, о них опять с самого начала!

— Вот были, Жорженька, старцы такие, давно, еще при старых книгах. Они, как христопродавство пошло, книги-то взяли да в горы... А в книгах вся как есть правда прописана и была, только знай листы разворачивай.

— А что же за старцами войско не шлют? — не утерпел Жоржик.

— Что, батюшка, войско?! Слово на них сказать надо... Вот если какой человек по правде так крепко стоскуется, что выклнкать старцев начнет, покуда живота не решнтся, такой и выкликнет. А ежелн покличешь, покли-

чешь да и присядешь, они и ухом не поведут. Потому сидят старцы в агромадной пещере под самым тем деревом, где святая троица во всем своем естестве один раз посидела.

— Мамврийский дуб, это я знаю,— серьезно сказал Жоржик,— только он, няня, совсем не в пещере, а на дворе Авраамова дома.

— Вот же, вот, Жорженька, и монашок этак сказывал. Только, говорит, пещеркой его ноне прикрыли — такой народ пошел, не ровен час, и срубят,— и кружка при нем для усердных. А от желудко́в этого дуба женщина, которая неплодная, на себе носить станет, беспременно рожать пойдет...

— Няня, а я могу старцев выкликнуть?

— Мал еще, Жорженька, разве в силу войдешь?

— А если их выкликнуть, все как есть злые к черту провалятся?!

— А тогда известно: тогда Новый Ерусалим вступит, реки молоком пойдут, а в городах уже не заставы, а двенадцать ворот золотых, а все с зеньчугом.

— Georges, où êtes-vous?— залилась опять тетя Софи.

Жоржик вдруг вспомнил разговор об игрушках и, помчавшись в конец коридора, щелкнул дверью в темную комнатку и что есть силы принялся дергать висящую белую ручку.

— Qu'est ce que tu as de rester si longtemps? * Заболел, что ли? Да перестань дергать, машину испортишь!

Жоржик выскочил красный, с веселыми чертиками в лукаво подхваченных калмыцких глазах.

— Где игрушки? Я и так опоздала...

Тетя Софи сверх обычной своей пелерины накинула другую, теплую, но покороче, и, спрятав под нее руки в черных перчатках, бросала на белую стену тень китайской постройки.

— Игрушки все — фью,— свистнул Жоржик,— ищи ветра в поле! Я их спустил.

— Но это чрезвычайно!— всплеснула тетя Софи своими руками негра.— Что я скажу Марье Тимофеевне?! Да это просто не детская дерзость, мой милый! Как ты только посмел?!

— Как же отдать, когда я их люблю?— сказал Жоржик.— А детям, я уже говорил, возьмите штаны, возь-

---

* Что ты так долго? *(фр.)* — *Ред.*

мите матроску, даже завтрашние игрушки можно, пока я их не узнал.

— А ты отдавай не то, что хочется, а то, что любишь, если ты христианин! «Положи душу свою за други своя...»— слыхал? А тебе негодных вещей жалко. По какому же это ты, милый, закону живешь?

— Ни по какому,— вспыхнул Жоржик.— Я, как Сережа, хочу только по совести... А про законы мне совсем все равно.

— А гореть не все равно?— Тетя Софи подпрыгнула прямо в лицо, и бородавка ее, такая злая, вдруг ощетинилась, сама захотела колоться.— В огонь вечный попасть захотел, «иже уготован аггелами его»? Там, милый, не шутят; там что сегодня, что завтра — уже навсегда...

— Врете вы все!— закричал не своим голосом Жоржик.— Про Марью Акимовну не знали и про другое, наверное, не так говорите! Хотите, чтобы Сережа в бане не мылся, во всем подучаете папу. Вот как выкликну старцев, вы прежде всех в ад и провалитесь.

— Если уж так чрезвычайно, если уж так...— захлебнулась тетя Софи и, подобрав нижние юбки, как от сильной грязи, до вязаных белых чулок, побежала к Ивану Ивановичу в кабинет.

— Петька,— кинулся Жоржик в кухню,— живо, дерем за мельницу!

— Здóрово! — обрадовался Петька, но тут же вдруг испуганно дернул носом, упустил на пол картошку, которую чистил, и в минуту голыми пятками промелькнул вниз по лестнице.

А Жоржика сильная рука схватила за шиворот и, безмолвно протащив весь коридор, вдвинула в темный чулан. Ключ отчетливо повернулся, и жестяной голос отца проговорил:

— Отсидишь до вечера, тогда поговорим.

II

Придя в себя, Жоржик завизжал и стал бешено колотить в дверь, но отец прикрикнул:

— Если не перестанешь, оставлю на ночь.

Отец такой серьезный, как его письменный стол: если наказывал, никогда не прощал.

Молча запрет, молча и выпустит, когда назначил. Да обыкновенно в чулане совсем и не скучно. В жестянке,

чтобы не стащили мыши, припасены огарки, а в кармане среди кусков сахару уже всегда неразлучны спички, ножичек и карандаш. Только присмотреть ящик от макарон, который поглаже, нарисовать морду лошади да и постругивать, пока срок не выйдет.

Но сегодня день такой славный, хоть и осень, а в воду влезть хорошо. И рак непременно пойдет на лучину... Вон Петька уже и полено щепит — услыхал он срывающиеся удары топора на кухне, и, вставив два пальца в рот, тихонько свистнул.

— Жоржик-Ершик, надолго зацапали? — немедленно зашептал в скважину Петька.

— До самого вечера, а там вдвоем с ведьмой будут кишки тянуть...

И, нарисовав огромную волосатую бородавку, Жоржик всадил в нее ножик.

— Я уже мясо украл, ребята сачки заправляют, а мы с тобой в воду, лучинщиками...

— Эх, ключ у него,— вздохнул Жоржик.

— А окошко? Оно ведь без рамы, ящиков нагороди, я веревку тебе перекину, а там — мне на плечи.

Петька помчался за веревкой на привычный чердак, а Жоржик, чтобы скоротать время, заметался по чулану. Два шага вперед, два назад.

— «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела?..» [4] — нараспев начал он, но сейчас же бросил.— Глупые стихи: спрашивает, спрашивает, а все без последствия — разве дерево говорит?

В большую отдушину чулана влетела привязанная к крепкой бечевке большая картошка и вкусно чавкнула, ударившись об стену.

— Молодец Петька!— восторженно шепнул Жоржик и кинулся громоздить ящики, но из них с таким треском посыпалась всякая рухлядь, что из кабинета последовал новый окрик: «Еще раз, и ты ночуешь!»

— Обожди, Ершик! Он скоро гулять пойдет,— обнадеживал Петька.

Чтоб не терять попусту силы, Жоржик лег на спину и потушил огарки. Он очень любил так лежать в темноте. Глаза как будто переходили вовнутрь затылка и уже оттуда смотрели, как в голове двигаются люди, вырастают какие-то большие красивые цветы или вдруг, как на дне морском, ворошатся чудовища. Кого хотел, того и пускал себе в голову; а глаза все видели, и еще лучше, чем днем.

Но сегодня он не хотел смотреть. Он изо всей силы думал: как бы достать Сереже место, чтобы он не стал пить водку, как поручики из ночлежки?

Если бы не паучиха, отец дал бы Сереже денег. Отец добрый, только он не любит ни о чем думать, кроме своей службы. Вот люди, которые за порядком смотрят,— взяли бы они паучиху да и повесили! Но пока правильных книг нет, разве кто что-нибудь по-настоящему знает?!

«А если никто, значит, и я: захотел — и повесил»,— вдруг решил Жоржик и вслух, сидя на полу, уже с открытыми глазами, стал пояснять себе дальше:

— С теми людьми, что невинного вешают, ничего не случается страшного — тем больше со мной, если я ее, виноватую?! Всем жить не дает: ябедничает, сахар, даже за чаем, считает; все, что любишь, отымет, Петьку живого ест... Вот еще!

— Петька!— забывшись, громко выкрикнул Жоржик.— Паучиху нам необходимо повесить, слышишь?

— Что же, ее можно повесить,— без всякого удивления немедленно согласился Петька.— Твой уже матери двугривенный на булки дал; сейчас уходит. А тетку мы тут из чулана и вздернем! Она все в сундуках со свечой шарит. Скажем, будто сама удавилась, со злости.

— Нет, Петька, ты только подумай: мне в разбойники теперь невозможно, потому что разбойник — он душегуб, а мне старцев непременно выкликнуть надо. К тому же, как только они придут, я ихние книги сейчас разверну и про нее правду узнаю: сколько ей еще доживать на земле оставалось. Мы на тот срок ее снова из ада и выпустим!

— Тогда можно и выпустить,— опять подтвердил Петька, тоже наслышанный в кухне о старцах,— потому тогда Новый Ерусалим вступит, а при нем всякий злой человек уже без опасности!

— Так что же откладывать?— сказал Жоржик.— Давай пробовать.

— Да чего пробовать!— сказал Петька.— Разве она тяжелее воблы? От ехидства, гляди, давно вся усохла, вдвоем ужо справимся, а сейчас дерем, Ерш, за плотину — твой не очень-то прохлаждаться любит.

Жоржик зацепил веревку за торчащий в стене костыль, немного застрял в отдушине и, весь испачканный мелом, спустил ноги Петьке на плечи. Потом легко спрыгнул на пол и, торопливо вытащив из кармана обгрызок красного карандаша, стал что-то писать на стене.

— Без приговора вешать не полагается,— деловито сказал он,— а приговор —«одно надругательство», уже Сережа наверное знает.

И на стене коридора, против веревочной петли, Жоржик крупными буквами вывел:

«Паучихе проклятой, пипе суринамской, жабе с бородавкою объявляем мы смертную казнь!»

Потом, из всей силы раскачав петлю, Жоржик кубарем впереди Петьки скатился по черной лестнице, на минуту задержался у открытого погреба, напихал себе полную пазуху сырой картошки и, уже не оглядываясь, помчался по прямой линии через огороды предместья к глубокой, но быстрой реке.

III

— Жоржик-Ершик, ей-богу, он!— обрадовались черноглазые мальчуганы с такими животами, как будто они только что проглотили по арбузу.— А Петька сказывал, ты на цепи!

— Сорвался!— сиял Жоржик.— А где же попович!

— Попович зазнался,— обиженно сказал старший,— мелочь вы, говорит, дураки, а я — второклассник...

— Ну его к черту, обойдемся!— прервал Жоржик и, быстро разувшись, влез в воду. Он не боялся больших черных раков и, держа в одной руке пук горящей лучины, шарил другой по глубоким норам. Обыкновенно глупый рак объявлялся скоро, разворачивал свою двупалую клешню и так крепко вцеплялся, что, только подпекая хвост, можно было высвободить руку. Если из пальцев при этом шла кровь, мальчики хвалили Жоржину храбрость, а он от гордости готов был целиком скормить себя ракам. Но сегодня, хотя вечер был теплый, осенний холод реки уже нагонял на ее жильцов предзимнюю дрему, и рак, забившись с своей рачихой в глубь темной норы, уже не шел, с любопытством тараща глáза на лучину, а упорно выставлял одну скользкую поджатую шейку.

— Под хвост не подкопаешься, рука онемеет, я уже бросил...— крикнул с берега Петька,— иди, Ершик, картошку печь! Может, который на мясо пойдет!

Озябший Жоржик с удовольствием растянулся у костра и стал внимательно наблюдать натянутые бечевки глубоко-глубоко спущенных в воду круглых сачков.

Черноглазые мальчики и Петька носили хворост, изредка перекликаясь. Жизнь в городе, загнанная по домам, разделенная на часы, здесь, за заставой, разливалась почти с деревенским привольем. Шумело колесо водяной мельницы, и какие-то оголтелые ребятишки, крутясь в желтой пене, выбивали фонтаны. Успокоенно хрюкали свиньи, и беззаботные гуси, подходя совсем близко, щипали траву.

Осень надвигалась добрая, с материнской лаской, без ветра снимала с деревьев совсем желтый лист и тихой рукой, не крутя его в воздухе сусальным золотом, словно в вату, опускала на мягкую, коврами покрытую землю. Небо было все синее, без облачка, такое чистое, как будто там только и делали, что мыли полы и, как к празднику, протирали стекла.

— Отчего день бывает, отчего ночь? — спросил задумчиво один из черноглазых, поворачивая на палке сало.

— День бог сделал, — не задумавшись, ответил Жоржик, — а ночь лучше всего мне нравится так, как я сам выдумал: она в трубах фабричных разводится. Ишь как пыхтят, небо пакостят! Это они все ночные часы выпускают. А когда солнце, совсем от них ослабевши, на корточки за конец земли присядет, черные часы все гуртом соберутся за небом, прорвутся сквозь синее и навалятся ночью на город. К утру уж они свою сажу за другой конец земли всю стрясут, а солнце, отдохнувши, снова во весь рост на небе встанет, только туловище его за голубым — нам одна голова пока что виднеется... Ненавижу ночь; вырасту, на все как есть трубы печать наложу! — кончил Жоржик.

— А как же ворам быть, если без ночи? — раздумывал Петька.

— Вот попович... он совсем по-другому про это рассказывал, он как в книжке, — сказал самый маленький шустрый мальчик. — Он говорит: земля словно большущий мячик, а солнце у него бегает сзаду и спереду. Мы живем спереду, солнышко видим днем; арапы, те живут сзаду, и оно для них ночью.

— Ну и так говорят, что же с того? — покраснел Жоржик. — И то попович соврал, как всегда: не солнце, а земля бегает. А мне что за дело: пусть в книжке так, а я по-другому. Пока старцев нет, все равно наверное ничего и ровно никому не известно. Ну, а картошка сырая,

еще не попеклась,— прокусил он закопченную кожу...— Дернем-ка пока что в тридесятое?

— В тридесятое, в тридесятое!— подхватили все мальчики, и хотя их после этого дела дома неизменно пороли, все с удовольствием пробрались за Жоржиком на самый верх чисто выполотых, аккуратных огородов с еще не снятой капустой.

Солнце уже чуть мигало из-за похолодевшей реки и все гуще разводило в воде свою дорогую красную краску. На песчаных обрывах, как рога огромного жукаоленя, совсем черными делались вывернутые корни деревьев. Ребята выстроились на горе, и Жоржик с загоревшимися глазами, почему-то шепотом, словно заклинание, стал скоро-скоро говорить, перебегая от одного к другому:

— Солнце разбежалось по небу и в океан, а мы за ним... И будто под нами не ноги, а кони. Понесут вихрем с одного конца земли до другого, через воду, через камни, через рвы — в тридесятое царство!

Мальчики заржали и стали в нетерпении сапогом, как копытом, бить землю, рвались бежать, а он, предводитель, их не пускал. Он все сильнее распалял словом и для каждого выискивал такое заветное из того, что читал, что слышал, что видел во сне... словно из костра брал горящие угли и бросал их в жадные, любопытные души.

В последний раз пыхнуло солнце и сковырнулось за дальний лес, за собой следом потянуло свою красную краску, а ночные часы принялись пробиваться сквозь небо, пока еще светлыми лиловыми чернилами.

— Геть, жеребцы, в тридесятое!— по-разбойничьи гикнул Жоржик и, распустив руки как крылья, первый стремглав ринулся вниз, по сине-зеленым упругим кочнам.

— Геть, геть!— подхватили мальчишки и, не отставая, понеслись за ним следом.

Свистел в уши ветер; сухо потрескивая отрубленной головой, скакала вдогонку капуста. Крепкие пятки разворачивали пышные гряды, и, уже бессильный остановиться, раскачав у самой реки обеими руками свое распаленное сердце, Жоржик словно его первое кинул в холодную воду, а за ним и все остальное, огнем разожженное тело...

. . . .

— А, купальщики, вот они где!— выскочил из кустов огромный кучер Матвей Филимоныч.— И не раздем-

шись изволите. А папенька думает, вы утопли! Пожалуйте-с, Ершик, обратно.

И, обхватив Жоржика теплым пледом, Матвей Филимоныч вмиг спеленал его, как грудного, и взял на руки. От кучера так славно пахло конюшней, рыжая борода ласково щекотала горящие щеки, и голос был такой хороший, успокоительный бас, что Жоржик совсем не рассердился.

— Матвей Филимоныч, а ведь высекут?— почти весело осведомился он.

— Беспременно, Ершинька,— широко раздвинулись волосатые щеки,— сами небось понимаете: раз — за тетенькино посрамление, два — за свое промочение. Папенька сами уж и прут обломали, на тот случай, конечно, ежели вы не утопли.

— Милый, Матвей Филимоныч, пожалуйста, неси меня как можно подольше. А там пусть себе порют, я когда-нибудь все равно совсем проскочу в тридесятое...

И Жорж спокойно заснул на больших уютных руках.

КАТАСТРОФА

К августу их в санатории было немного: кто по нисходящей линии шагнул в сумасшедший дом, а кто, нагуляв себе недостающее для равновесия духа количество фунтов, пошел снова тянуть свою упряжку.

Новых больных сейчас не брали, потому что старший врач уехал за границу, а санаторию перестраивали и расширяли под руководством младшего врача, Аггея Ивановича.

Здание вырастало огромное, но пока отделан был только нижний этаж да «висячие сады Семирамиды»— так звал Аггей Иванович большую террасу над парадной дверью, хотя, по собственному его выражению, самого в ней висячего был турецкий боб, сползавший красными цветами по каменным столбам до земли. Здесь после раннего обеда вытягивались больные и всеми порами глотали солнце.

Сейчас, поджав ноги под серую юбку, качались в качалке учительница-неврастеничка, а подальше — иссохшая барыня с желтым лицом и огромными глазами, разрезанными шире, чем вообще бывают разрезаны глаза

у людей, с одной ярко-седой прядью волос над прочими иссиня-черными.

У этой барыни под ложечкой лежала грелка, напоминавшая свернувшегося спиралью гигантского стального червя. Открывая глаза во весь их необыкновенный размер и, должно быть, страдая, она говорила толстому дьякону:

— Расскажите мне что-нибудь, ну, скорей...

Дьякон Вавила в парусиновом подряснике, облегавшем, как трико, его самоварный живот, сидел на тумбе под деревянной вазой с настурциями и, по-женски ловко перебирая пальцами, вплетал в жидкую белесую косицу красную ленточку.

— Только всего и осталось от дня свобод...— хихикнул дьякон,— а ведь тоже петицию подавал.

— Главное, с такой окраской физиогномии не гоняйся, дьякон, за лентой, у тебя приливчик — изволь, брат, прилечь,— добрым, настойчивым баском сказал Аггей Иванович и сам придвинул кушетку.

— Не привыкну при дамах...— конфузился дьякон и прикрылся газетой так, что наружу торчала только борода лопатой, такая же полинялая, как и волосы, да бугристый красноватый нос.

— Ну, расскажите же, ну, скорей...— повторяла опять желтая барыня, прижимая к подложечке грелку.— Болит, доктор, болит и болит!— злобно крикнула она Аггею Ивановичу, который, подойдя к ней, еще не успел и рта открыть.

— Голубонько,— сказал он,— да оно же перестанет!

И наложил свою большую руку поверх грелки с таким видом, будто из руки его должно было заструиться какое-то особенное целебное тепло.

Хотя желтая барыня чувствовала по-прежнему, будто злой голодный рак то и дело впивается изо всей силы клещами в ее желудке, а от боли у нее мурашки бегают по спине, она вдруг успокоилась, как успокаивался всякий, к кому подходил Аггей Иванович.

Его близость возвращала какое-то первобытное колыбельное доверие, и сразу делался он больному доброй няней и сильным, готовым на защиту отцом.

А дьякон поморгал сочувственно на желтую барыню небольшими добрыми глазками и с передышкой заокал своим тверским говором:

— В городе-то у нас собор огромный и два иерея, отец Геннадий да отец Стефан, а ссорятся — господи бо-

же мой! Геннадий в меру дороден, румян, ногти чисто содержит, зубочистка всегда при нем, и, между всем прочим, душится; отец Стефан пониже ростом, военного настроения. Сочинение в синод изготовил: «О потешных духовного ведомства». Да, не поделят собор иереи, а евхаристии предстоят. Читает Геннадий: «Христос среди нас», а Стефан ему: «Ан не был и не будет». Стефан владыке донес на Геннадия: зачастил, дескать, в кинематограф на прелюбодейные зрелища, инкогнитом переодетый певицу Вяльцеву слушал и прочее... А Геннадий на Стефана встречный владыке: сквернослов, мздоимец, дьяка заушает. Провели в собор электричество: Геннадий приказал, чтобы при возгласе: «Свет Христов просвещает всех!»— разом пыхнуло для прообраза, а сам в облачении возлег на жертвенник, власы серебром, руки воздеты, очи в горнее... Барыни так и ахнули, а Стефан Геннадию: «В уставе сего не значится, почто актерствуете?» Сцепились — беда!

Дьякон прыснул и закрыл рот рукой, но вдруг притих, повел с жалобой потухшими глазками и сказал, понизив голос:

— В этот-то вечер впервые его я увидел. Ка-ак прыгнет меж Геннадием да Стефаном, мохнатенький, голова — орех кокосовый, все волосы на морду начесаны:

— Что вы, отец дьякон!— вскрикнула барыня.

Учительница привстала на локтях и уставилась в дьякона испуганными глазами, доктор снял с грелки руку, соображая, что ему дальше делать, а дьякон продолжал, уже ни на кого не обращая внимания:

— Ну, понял я черного как некое указание, пошел к Федотычу-псаломщику. «Пошлем, говорю, купно владыке плач о нашей мерзости запустения, напомним ему, что есть истинная церковь Христова...» Однако меня в сумасшедшие и дьяка к Макару́ трезвонить... А семья у него, господи боже мой: Степанида, Анюта, близнят двое, да Паша, да одно в пеленочках...

Дьякон всхлипнул и развел руками: газета съехала с него, шурша, на пол и осталась стоять там шалашиком.

— В добрый час разговор завела, нечего сказать...— отвернулась желтая барыня от дьякона и так прижала к себе грелку, что казалось, она вот-вот продавит ей тело и проскользнет внутрь.

А дьякон, пузатый, с красным бантом в белесой косице, сидел на тумбе и бормотал:

— Господи боже мой, близнят двое, одно в пеленочках... Эх, черный-то, черный попутал!

— Вздор, дьякон,— пробасил Аггей Иванович,— черный с чертями и водится, а над тобой, дьякон, солнышко, над тобой скоро воздушный корабль пролетит. Читал газету? Сегодня, брат, состязание аэропланов. Путь им прямехонько через нас.

— Аггей Иванович,— сказал робко дьякон,— я к себе лучше пойду... Уж вы простите,— поклонился он желтой барыне,— хотел вас позабавить, ан силушки нет. Пойду я, Аггей Иванович...

— Э, дьякон, свинтить тебя некому...— Врач крепко обнял дьякона и, подталкивая его всем своим громадным туловищем, увел вниз.

— И для чего трепать было человека?— ни к кому не обращаясь, сказал румяный, непонятно зачем находившийся в санатории юноша, которого все звали Петенька.— Ведь известно, что про соборные дела ему поминать нечего.

— Кто же знал, что он чертей видит?— недобро улыбнулась желтая барыня.— Мне их хоть с сотню давайте, только бы боль отпустило; это он, что же, после белой горячки?

— Он непьющий...— сказал Петенька.— Просто был честный, верующий человек, огорчился за бога: слыхали, петицию подавал? Да вот от жары, что ли, всю ночь опять скрипит половицами: вчера ко мне пришел, я тоже не сплю, лежу, в потолок плюю. Сел дьякон на кровати и завел свою канитель... Поспотыкался на текстах, однако добрел-таки. «Если черт, говорит, нервное лишь расстройство, то и господь бог таковое же самое... За кого же тогда, плачет, вступаться я пробовал, петицию подавал, дьячка загубил?..» А тень от него на стене — сущий бурдюк с хвостиком.

— Не пойте, пожалуйста, Лазаря...— прервала желтая барыня,— все мы тут плачем сами, кто от чего... У вас, однако, Петенька, щеки как кровь и нигде не болит...

— У меня щеки такие румяные от неправильного кровообращения,— сказал румяный Петенька,— а в роду у нас по отцовской линии все на двадцать пятом с ума сходят. Мне их двадцать четыре, и для увертюры крохотная idée fixe.

— Если не скучная, изложите...— усмехнулась барыня.

— Почему же скучная, я с ней день и ночь, можно сказать, в интимнейшем альянсе, и ничего, даже с места не двигаюсь.

— Да, это ужасно негигиенично, как вы проводите ваше время,— отозвалась учительница,— гуляете только, когда вас под руку тащит Аггей Иванович, а то все лежите у себя на кровати или вот здесь... Хотите, я дам вам хорошую книгу?

— Не хочу,— Петенька не взглянул на учительницу, заложил под голову руки и расправился поудобнее.— Книг я много прочел, наукой интересовался, при университете оставлен, профессор мной хвастался и за границу за свой счет посылал. Да и сам я сдуру целых два дня ходил пыринном... Так у нас в Владимирской губернии индюков прозывают, а мы оттуда столбовые дворяне... Так вот-с, походил пырином — я, дескать, надежда Российской империи, а потом вдруг и лег на кровать в собственной комнате: задрал ноги вверх на железку и стоп... кончен бал. Должно быть, на отцовскую кровь свернуло.

— Вы обещали про idée fixe,— прервала жестоко барыня.

— Ах, пусть его говорит, как ему хочется: ему станет легче,— вставила робко учительница.

— Idée fixe,— вскрикнула, словно ругнулась, барыня, а учительница, вспыхнув, сжалась комком в серой юбке и, скрывая слезы в обмотавшем голову белом шарфе, стала думать о том, что никогда, никогда не полюбит ее тот, по ком и здесь она сохнет и, несмотря на все усилия Аггея Ивановича, не может прибавить в весе.

А румяный Петенька равнодушно продолжал:

— Idée fixe? Ну, извольте: расплескать сдуру силу, как иные прочие, желторотые, я не желаю, но и сделать выбор мне невозможно, ибо все под луной равноценно... Вот и существую: лежу, пью и кушаю.

Петенька засмеялся и долго не мог остановить своего смеха, делая вид, будто он так хочет; но брови его мучительно дрогнули, по ним видно было, что он делает усилия перестать, но сразу не может.

Заплаканный глаз учительницы выглянул из-под белого шарфа и скрылся в нем снова. Желтая бары[illegible]ый, н[illegible] встала и, зажав тонкими длинными пальцам[illegible]адостным ножницами, стоявшую в бокале около нее пр[illegible]еждой, розу, заговорила взвизгивающим и вдруг опадающ[illegible]ые лосом:

«Климов кулак» Форш вернулась к этому материалу, работая над пьесой «Чувер», которая, однако, завершена не была.

[1] Малюта Скуратов (Бельский Григорий Лукьянович; ум. 1572) — думный дворянин, ближайший помощник царя Ивана IV Васильевича по руководству опричниной.

Из цикла «ЛЕТОШНИЙ СНЕГ»

ПРИМУС

Впервые — Красный журнал для всех. 1924. № 8.

[1] Ложесна́ — матка, утроба матери. «Разрешение ложесн отверстием царских врат» — помощь при трудных родах открытием дверей алтаря.

[2] Турнюр — в модах конца XIX в.— ватная подушечка, подкладывавшаяся дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.

[3] Веред — чирей, болячка; синоним выражения: «типун тебе на язык».

ТОВАРИЩ ПФУЛЬ

Впервые — Ф о р ш О. Летошний снег. М.; Л., 1925.

[1] Речь идет о дискуссии о правах и месте женщины в эпоху обновления, о традициях и новизне в отношениях мужчины и женщины (пресловутая теория «стакана воды» и свободы полового поведения, выдававшаяся в молодежно-авангардистской среде 1920-х гг. за революционизацию личных отношений).

ДЛЯ БАЗЫ

Впервые — Круг. Альманах. 1924. № 3. С. 235—259.

[1] Живцы — сторонники «живой церкви», течения, отколовшегося в 1922—1923 гг. от русской православной церкви; пытались приспосо-
...ться к новым условиям, организовали высшее церковное управление
...признавшее советскую власть.
... между представителями так называемой «живой»
... ви проводились в начале 20-х гг. в Москве и других

Впервые — Ковш. ..

128.

...в была красной.

[4] «Ара» — сокращенное название Американской администрации помощи, созданной в 1919 г. для оказания «помощи» европейским странам, пострадавшим от первой мировой войны. Во время голода 1921 г. в Поволжье советское правительство разрешило деятельность этой организации, но в июле 1923 г., в связи с ее враждебными действиями против нашей страны, деятельность «Ара» на территории Советской России была запрещена.

[5] Ектенья — молитвенное прошение в церковной службе, обращенное к богу от лица всех молящихся.

[6] Имеется в виду евангельская легенда, согласно которой во чреве Елизаветы — матери Иоанна-предтечи — «взыграл младенец», когда она услышала приветствие девы Марии.

[7] Всероссийский поместный собор православной церкви — один из центров внутренней контрреволюции — происходил в Москве с августа 1917 по сентябрь 1918 г.

[8] В январе — феврале 1918 г. в Кёльне происходили крупные стачки, сопровождавшиеся демонстрациями.

[9] Орарь — часть дьяконского облачения.

[10] Закон об изъятии ценностей у церквей был издан президиумом ВЦИК в феврале 1922 г.

[11] Имеются в виду события церковной истории Византии, когда Констанций II (император 337—361) склонился на сторону арианства — течения в христианстве, названного по имени его основателя, александрийского священника Ария (256—336) — и начал гонение против православной церкви.

[12] Митра — головной убор архиереев, архимандритов и епископов при полном облачении.

[13] По-видимому, речь идет о журнале «Живая церковь» (1922—1923).

БЕЗ СИГАРЫ

Впервые — Ленинград. 1924. № 5. С. 7—15.

[1] Первая строка стихотворения Пушкина «Сонет» (1830).

[2] Шарлотта (Лотта) и Вертер — главные герои романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

[3] Брунгильда — персонаж средневекового германского эпоса «Песнь о Нибелунгах» (ок. 1200).

[4] Гедда Габлер — героиня одноименной драмы Генрика Иб[illegible]

[5] Дудкин — персонаж романа А. Белого «Петербург[illegible] изд.— 1916).

[6] Прекрасная Дама — поэтический образ [illegible] «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[7] Миф Платона о происхождении и сущности любви, изложенный в одном из его диалогов («Пир»), здесь цитируется в пересказе Ги де Мопассана в пьесе «В старые годы» (1879).

[8] Гурия — по мусульманским верованиям о загробной жизни, райская дева, красавица.

ЛЫСОГОРЬЕ

Впервые — Форш О. Летошний снег. М.; Л., 1925.

[1] Имеется в виду древнекитайский трактат «Лао-цзы» (IV—III вв. до н. э.), каноническое сочинение даосизма, пропагандирующее иедеяние — уступчивость, покорность, отказ от желаний и борьбы.

Из цикла «МОСКОВСКИЕ РАССКАЗЫ»

БАШНЯ

Впервые — Ковш. Лит.-худож. альманах. Кн. 3. Л., 1925. С. 123—126.

[1] Речь идет о Сухаревой башне в Москве, готическом трехъярусном здании, построенном при Петре I в 1692 г. в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным во время бунта 1689 г.

[2] Училище математических и навигационных наук было открыто в Сухаревой башне в 1700 г., в 1915 г. — переведено в Петербург.

[3] Вацлав Фомич Нижинский (1890—1950) — выдающийся русский танцовщик.

[4] Стоглав — решения церковного собора 1551 г. по поводу церковно-монастырского землевладения; были сформулированы в сборнике, содержавшем сто глав.

[5] Жан Жорес (1859—1914) — руководитель французской социалистической партии, вел борьбу против милитаризма. Убит наемным убийцей Вилленом 31 июля 1914 г.

VICTORIA REGIA

Впервые — Ковш. Лит.-худож. альманах. Кн. 3. Л., 1925. С. 126—128.

«ВСЕМИРНАЯ БАНЯ»

Впервые — Ковш. Лит-худож. альманах. Кн. 3. Л., 1925. С. 128—132.

1 Речь идет о повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).

ПЯТЫЙ ЗВЕРЬ

Впервые — Ковш. Лит.-худож. альманах. Кн. 3. Л., 1925. С. 132—140.

1 «Юдифь»— опера А. Н. Серова (1820—1871). Шаляпин исполнял в ней партию Олоферна.

2 Это выражение встречается в романах Майн Рида «Квартеронка» и «Приключения юных буров».

3 Речь идет, по-видимому, о Зигфриде (в рассказе ошибочно Зигмунд) — одном из главных героев средневекового германского эпоса «Песнь о Нибелунгах». Согласно легенде, Зигфрид убил дракона и выкупался в его крови, отчего стал неуязвимым. Георгий Победоносец — мифический христианский святой, тоже победитель дракона.

4 Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий ремесленник, философ, математик.

САЛТЫЧИХИН ГРОТ

Впервые — Огонек. 1926. № 36. С. 10—12. Под названием: Подмосковная. Заглавие «Салтычихин грот» дано в сб. «Московские рассказы» (Л., 1926. С. 38—53).

1 Рассказ Пети Ростаки о Салтычихе (Салтыковой Дарье Николаевне, 1730—1801) исторически точен.

2 Согласно библейскому сказанию, кит проглотил Иону вместе с плотом, на котором он плыл по морю.

3 «Не о хлебе едином жив будет человек»— евангельское изречение.

4 Владимир Александрович Мазуркевич (1871—1942) — русский поэт, автор популярных в начале XX в. водевилей и «монологов».

5 См. примеч. 54 к роману «Сумасшедший Корабль».

6 Картины французского художника Поля Гогена (1848—1904) посвящены жизни коренных обитателей острова Таити, где он прожил много лет.

[7] «Прожектор»— иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал, издавался в Москве с 1923 по 1935 г. В нем печаталась и О. Д. Форш.

ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Впервые — Прожектор. 1925. № 14. С. 2—7; № 15. С. 19—21.

[1] Речь идет о Николаевском сиротском институте, в котором училась О. Д. Форш в 1884—1891 гг. Рассказ носит автобиографический характер.

[2] Декоративная скульптура, изображающая аллегорию —«Милосердие и Воспитание», была создана русским скульптором И. П. Витали (1794—1855) в 1832—1835 гг. и украшала ворота Воспитательного дома, в котором помещался Николаевский сиротский институт. После перестройки соседнего здания Опекунского совета эти ворота стали въездными к обоим домам (ныне — Солянка, д. 12 и 14).

[3] Узкий горный проход из Фессалии (Северная Греция) в Локриду (Средняя Греция) вошел в историю как место знаменитой битвы 480 года до н. э., где триста греков долго удерживали многочисленное персидское войско, пока все не погибли.

[4] Пепиньерками назывались девушки, окончившие закрытое учебное заведение (институт) и оставленные в нем для педагогической практики.

[5] Героиня рассказа перепутала имена древнеримских героев, приписав подвиг Марка Курция, который легенда относит к 362 г. до н. э., Публию Децию Мусу, пожертвовавшему жизнью ради отечества в битве 343 г. до н. э.

СОВМЕСТИТЕЛЬ

Впервые — Форш О. Московские рассказы. Л., 1926. С. 79—90.

[1] Иверская часовня находилась вблизи здания Исторического музея при входе на Красную площадь. В 1929 г. была снесена.

[2] Речь идет о подавлении в 1925 г. Испанией и Францией национально-освободительного движения в испанском Марокко, получившего особенный размах на северо-востоке страны, населенном племенами рифов.

[3] «Тюня» — испорченное «туника» — спортивная одежда первых советских физкультурников, придуманная в подражание древней Элладе.

ЗАСТРЕЛЬЩИК

Впервые — Русская мысль. 1909. № 4. С. 51—63. В сб. «Обыватели» (М.; Пб., 1923. С. 21—38) и во всех последующих изданиях рассказ посвящен памяти мужа писательницы Бориса Эдуардовича Форша (1867—1920).

[1] Речь идет об иллюстрации к евангельской легенде, согласно которой волхвы, руководимые звездой, пришли с востока поклониться младенцу Иисусу Христу.

[2] Речь идет об основных моментах легендарной биографии Иисуса Христа. Согласно евангельскому мифу, Иосиф, муж Марии, спасая Иисуса Христа от царя Ирода, который хотел убить его, взял младенца и мать его Марию и бежал с ними в Египет.

[3] Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя философской школы киников. Следуя их учению, Диоген стремился вернуться к «естественному состоянию» и выдвигал идею мирового гражданства. Диоген был равнодушен к почестям, терпеливо сносил обиды, лишал себя удобств жизни и, наконец, поселился в бочке, которую катал перед собой.

[4] Начало стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» (1837).

КАТАСТРОФА

Впервые — Заветы. 1914. № 3. С. 24—34. Подпись: А. Терек.

АФРИКАНСКИЙ БРАТ

Впервые — Красная новь. 1922. № 5. С. 94—102. С подзаголовком: Из книги «Обыватели». Является переработкой пятой главы незаконченного романа «Оглашенные», написанной в 1916 г.

[1] Штунда — одна из религиозных сект, возникшая в России в середине XVIII в. В числе ее догматов была вера в близкий передел всей земли; указом от 4 июня 1894 г. была отнесена к разряду наиболее вредных сект.

[2] Стихиры — в богослужебных книгах песни со стихами из Священного писания.

[3] Имеется в виду евангельская притча о добром самарянине, который, в отличие от первосвященника, не прошел мимо человека, пострадавшего от разбойников, а оказал ему помощь и исцелил от раны.

МАРФУШКИН КРУГ

Впервые — Наш путь. 1918. № 1. С. 51—69. Под названием: Поголовщина. Подпись: А. Терек. Под названием «Марфушкин круг» — Форш О. Собр. соч. в 7 т. М.; Л., 1928—1930. Т. 6. С. 321—353.

[1] Капище — языческий храм, место поклонения идолам — изображениям языческих богов.

[2] Русская крепость Порт-Артур, после осады японцев с моря, длившейся с июня по декабрь 1904 г., была сдана неприятелю генералом Стесселем.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Тимина. Ольга Форш и современность 3

СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ. *Роман*

Волна первая 24
Волна вторая 34
Волна третья 43
Волна четвертая 56
Волна пятая 68
Волна шестая 83
Волна седьмая 98
Волна восьмая 112
Волна девятая 126

РАССКАЗЫ

ИЗ ЦИКЛА «ОБЫВАТЕЛИ»

Шелушея 144
Безглазнха 150
«Марсельеза» 158
Чемодан 164
Из Смольного 177
Жнворыбный садок 188
Корректнв 193
Хнруронд 198
Синекура 206
Клнмов кулак 213

ИЗ ЦИКЛА «ЛЕТОШНИЙ СНЕГ»

Прнмус 229
Товарнщ Пфуль 236

Для базы 263
Без сигары 280
Лысогорье 291

ИЗ ЦИКЛА «МОСКОВСКИЕ РАССКАЗЫ»

Башня 298
Victoria Regia 302
«Всемирная баня» 304
Пятый зверь 310
Салтычихин грот 322
Во Дворце труда 333
Совместитель 343

ИЗ ЦИКЛА «ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ»

Застрельщик 352
Катáстрофа 364
Африканский брат 374
Марфушкин круг 384
Комментарии 402

Форш О.

Ф 80 Сумасшедший Корабль: Роман; Рассказы/Сост., вступ. ст., коммент. С. Тиминой.— Л.: Худож. лит., 1988.— 424 с., 1 л. портр.

ISBN 5—280—00868—0

В книгу выдающегося мастера советской прозы О. Д. Форш (1873—1961) включены произведения, посвященные современным писательнице событиям и людям. В романе «Сумасшедший Корабль», не переиздававшемся с 1931 года и представляющем собой яркий художественный документ эпохи начала советской литературы, воссозданы картины духовной жизни революционного Петрограда, быт и атмосфера петроградского Дома искусств. Рассказы из сборников «Обыватели» (1923), «Летошний снег» (1925), «Московские рассказы» (1926) и другие — примечательное явление прозы 20-х годов.

Ф $\frac{4702010201—087}{028(01)—88}$ КБ—40—37—88 **ББК 84.Р7**

Ольга Дмитриевна Форш

СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

Роман

РАССКАЗЫ

Составитель
Светлана Ивановна Тимина

Редакторы Т. Мельникова, Т. Степашова
Художественный редактор В. Лужин
Технический редактор Н. Литвина
Корректоры А. Борисенкова, М. Зимина

ИБ № 5604

Сдано в набор 01.04.88. Подписано в печать 06.10.88. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,26+0,05 вкл.=22,31. Усл. кр.-отт. 22,78. Уч.-изд. л. 24,01+1 вкл. = 24,06. Тираж 200 000 экз. Изд. № ЛIII—221. Заказ № 1507. Цена 2 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15